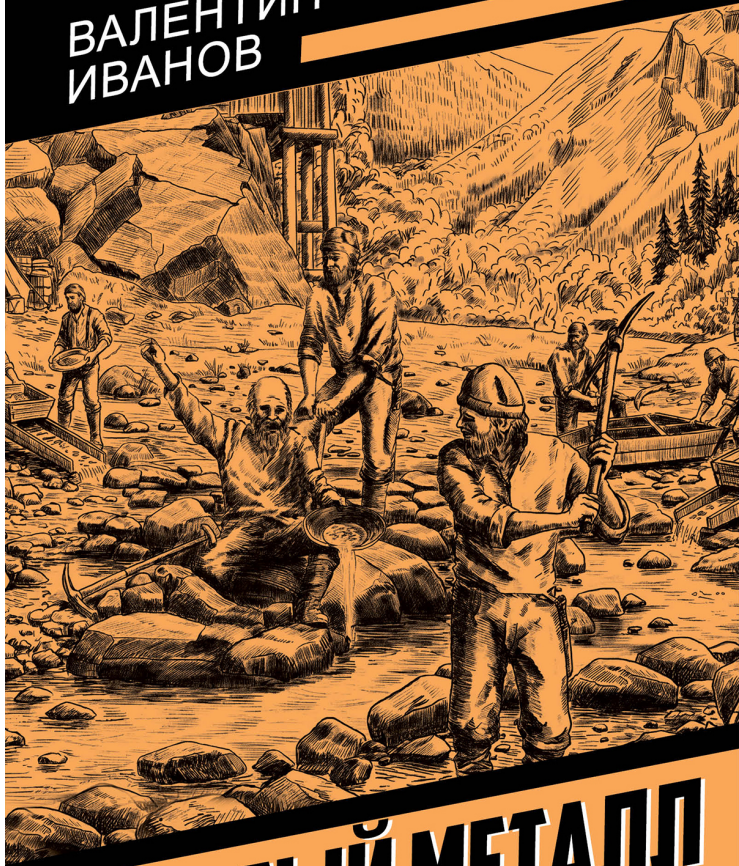


ВАЛЕНТИН
ИВАНОВ



ЖЕЛТЫЙ МЕТАЛЛ
ТАЙНЫЙ
ФРОНТ

Валентин Дмитриевич Иванов
Желтый металл
Серия «Тайный фронт»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74325846

*Желтый металл:
ISBN 978-5-00269-611-6*

Аннотация

Перед вами – самый сенсационный роман Валентина Иванова (1902–1975), автора знаменитой «Руси изначальной». Сибирский детектив! На Сендунских приисках несколько рабочих при промывке золота стараются утаить золотой песок. Приисковый закройщик Бородский скупает из-под полы краденое золото по бросовой цене. Автор вскрывает грандиозную систему сбыта ворованного. В дело вмешиваются шпионы... На материале Кавказа и Средней Азии Иванов первым в советской литературе описал этнические преступные сообщества

Роман создан на основе подлинных следственных дел 1950-х. Критика встретила эту книгу в штыки. Иванова осудили за излишнюю жестокость повествования, за слишком подробное описание криминального мира и подрыв советского интернационализма. Сегодня эта увлекательная книга – еще и уникальное свидетельство о трудном послевоенном времени.

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	18
Глава третья	30
Глава четвертая	35
Глава пятая	46
Глава шестая	53
Глава седьмая	58
Глава восьмая	74
Глава девятая	80
Глава десятая	92
Глава одиннадцатая	103
Часть вторая	117
Глава первая	117
Глава вторая	123
Глава третья	131
Глава четвертая	140
Конец ознакомительного фрагмента.	149

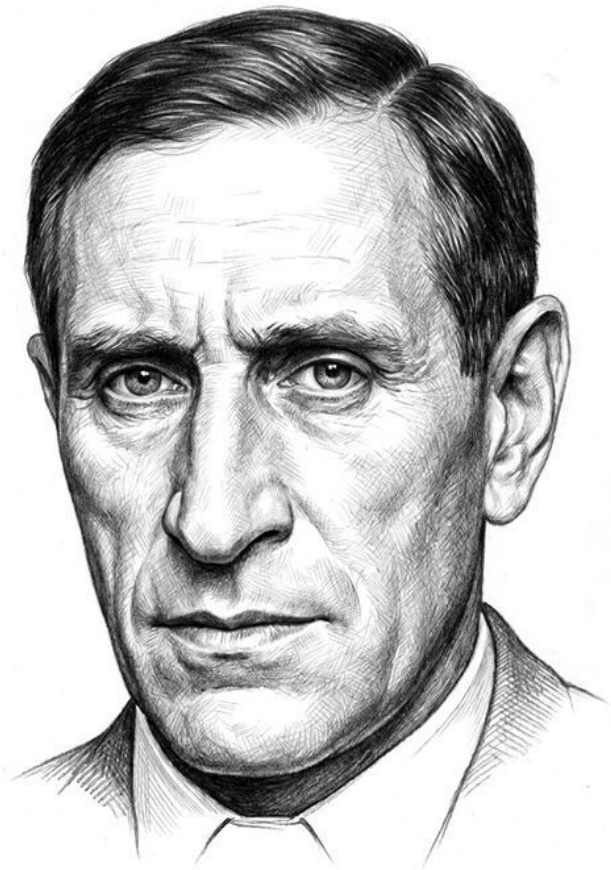
**Валентин
Дмитриевич Иванов**
Желтый металл

*ПОСВЯЩАЕТСЯ РАБОТНИКАМ СОВЕТСКОЙ
МИЛИЦИИ.*

*«Интерес увеличивался тем, что это была не
выдумка, а истинное происшествие...»*

С. Т. Аксаков

© ООО «Издательство Родина», 2026



Валентин Иванов

Часть первая

Легкая нажива

Глава первая

1

Над тайгой, полной запаха мокрой хвои, клочья облаков, застрявшие на ночь, буйно неслись к северу, гонимые пряным южным ветром. Следом за облаками на расчищенное небо лезло круглое солнце, спозаранку жаркое, багрово-влажное, пахнущее, как и тайга, живой лесной прелью.

Ладный бревенчатый дом-пятистенка с хозяйственно устроенной широкой завалинкой, с оградой, с хлевом и сараем за оградой, с огородом позади дома... Словом, жилье искони русского вида и стиля, если под стилем понимать не архитектурные пропорции, а организацию быта с наклонностью русского человека жить «у себя», как привыкли, как и сейчас любят жить русские, потомки не городской, а крестьянской России.

В этом стиле и сегодня застраиваются целые поселки на окраинах наших быстро растущих индустриальных городов.

Проведенные на плане «большого» города красные линии обрастают одноэтажными домиками индивидуального строительства. На усадьбе обязательно огород – свои овощи как-то вкуснее. На дворе обязательно домашняя птица. Там, где пользуются выгонами, найдется место для коровы, козы. Все это хозяйство отличнейше уживается с антенной телевизора на крыше, с электрическим освещением и газом, с проложенными рядышком линиями трамвая и троллейбуса.

Вот из такого дома, но расположенного не в промышленном городе, а в таежном приисковом поселке-городке, проверив свой часы по радио, отправился на работу хозяин, Григорий Маленьев. Мужчина он телом сильный, лет ему тридцать пять, одевается по-рабочему чисто, усы и бороду бреет, и лицо его кажется крепким, литым.

Шагая улицей, где таких домов, как у него, не один и не два, а целый порядок, в котором дрянная жердевая халупа старинного приискательского образца торчит не правилом, а досадным бельмом, свидетельством нерадения владельца или приискового управления, Григорий Маленьев вполголо-са напевал былую старинную сибирскую жалобную песню:

Помню я таежное зимовье
При закате розовой луны.
Облака, окрашенные кровью,
И густые ели спят вдали.

Не столько напевал, сколько мычал, дополняя воображе-

нием мотив, и слышал, конечно, не себя, а эту воображаемую мелодию, и увлекался грустно-сентиментальными словами:

А наутро резвые олени
Увезут в неведомую даль.
Уезжала ты одна по Лене,
Увозила радость и печаль.

В шахтах холодно, непривычному человеку знобко. Вечномерзлый песок тверд, что дикий камень. Золотоносную породу разогревают паром, и в забоях влажно, туманно, как в простывшей бане. Вагонетки и транспортеры, освобождая штреки, уносят темный песок. Гул машин, трескучий стук-перестук отбойных молотков...

Так изо дня в день. Весной, летом, осенью, зимой – круглый год, за вычетом отпуска, выходных и праздничных дней. Работы хватает. В здешних местах накоплено золотосодержащих песков без конца, без края. Заработки на сдельщине приличные, а у рабочих-специалистов и хорошие.

Стенная газета:

«СДЕЛАЕМ НАШ СЕНДУНСКИЙ ПРИИСК
ПЕРЕДОВЫМ!
БОЛЬШЕ ЗОЛОТА НАШЕЙ РОДИНЕ!
ЗОЛОТО ДЛЯ НАС...»

Ну кто же не знает, что для нас золото – это совсем не то,

что в других странах, или у нас же, но до революции? Наше золото теперь _наше_, собственное, сами хозяева!

Добыча золота из золотоносного пласта геологических отложений завершается «доводкой» концентрата – последней во всем процессе промывкой золотоносного песка.

В глубокой древности – не в человеческой, а в геологической – в горах тянулись пласты твердешего кварца с жилами металлического золота. Время размыло, перемололо горы. В песках залегли чешуйки превращенного в песок золота. Они в семь раз тяжелее зерен простого кварцевого песка. Поэтому, унося размельченное золото, вода роняла его по дороге. В бурных потоках золото выпадало на дно первым и располагалось по-своему. Рассыпалось. Отсюда и выражение – золотые россыпи. На большей по сравнению с обыкновенными песками тяжести золота и основана его добыча – промывка.

Из шлюза-головки промывочного устройства извлекают килограмм-два песка, в котором золота чуть ли не больше, чем кварцевых зерен. Это и есть концентрат. Его последняя промывка называется доводкой. Маленьев работает сьемщиком-доводчиком.

Попадется в концентрате самородочек, Маленьев на глаз определит, сколько граммов потянет бурый увесистый камешек. Ошибется против точных весов не намного, как слесарь в диаметре гайки, токарь – в толщине цилиндра, повар, бросающий соль в котел супа.

Приисковые рабочие привыкают смотреть на золото профессиональным взглядом. Так конфетчик глядит на шоколад, хлебопек – на булки, кассир – на пачки денег. Совершенно нет ничего особенного, тем более соблазнительного. Работа как работа. Продукт. Выполнение нормы. Маленьев не пришлый, родился и жил в Восточной Сибири, о золоте слышал и золото видел с детства.

После демобилизации, в сорок пятом, в середине лета, Григорий Маленьев отдохнул-погулял месячишко, другой, третий... Кое-что было, на что погулять. Потом – работать-то надо – пошел, как до войны, копать золото в старательской артели. На языке его мест это звалось «вольным старанием». Название образное, правильное. Работай сколько хочешь, со своим инвентарем; заработок зависит не столько от умения или от рабочего времени, как от удачи.

Сибирское золото тяжелое, рассыпное, в одиночку его не взять, как, слышно было, берут или брали в иных местах Калифорнии, в Мексике. Копают артелями, выручку делят поровну. Коль и прильнет будто бы сам собой к руке самородок иль откроется «гнездо» – бери меня, кто первый увидал! – оно лучше будет с ними не баловать. Артель тверда товариществом и сама в сто глаз смотрит, чтобы дела вершились без изъяна. Теперь что-то не слышать таких дел, а вот в старое время бывало, что блудливого артельщика товарищи своим таежным судом и «пришьют», то есть зарежут, попросту говоря.

Против артели и родной отец не заступа. Вернувшись домой, из тайги, артель сообщит по начальству: помер от горячки Петр Иванов или Иван Петров – и концы в воду.

До конца 1947 года, то есть до отмены карточной системы и до денежной реформы, старательское золото «отоваривалось». Сдав добычу, старатели на полученные боны брали в магазинах золотоскупки что хотели, по своему выбору и без нормы: пшеничную муку, сахар, масло, ткани и прочее.

Что было сверх собственных надобностей, то пускалось на рынок по вольной цене. И один золотоскупочный рубль обрастал «базарными», как баран шерстью, как птенец пухом.

С конца сорок седьмого года нечистые базарные прибыли отвалились. Государство же по-прежнему оплачивало сдаваемое золото по ценам, для старательского труда подходящим.

По условиям труд «вольного старателя» был так тягостен, что с давнейших времен, задолго до революции, сами старатели прицепили ему звучное название: вольная каторга. Подстегивал азарт, затягивала «золотая лихорадка»...

Короткое лето. С осени, для многих на всю долгую зиму, начинался тягучий вынужденный простой. Показали бы таежным «вольным» приискателям правду об их будущем, и вряд ли хоть один, поглядев в магическое зеркало, потянувшись бы на это окаянное дело.

Как ручное ткачество и многие, многие другие ремесла, старательство могло существовать до времени – пережи-

ток кустарной промышленности. С улучшением машинной техники добычи, с появлением крупной, недостижимой для старателя механизации сделалась совсем архаичной человеческая фигура, согбенная над примитивным промывочным лотком. При всех старательских ухищрениях в переработанных песках все же оставалось много золота. И с конца прошлого столетия оказалась выгодной индустриальная переработка старых, уже промытых отвалов по второму и третьему разу.

У нас в СССР старательство изжило само себя, устарело со всеми своими формами к 1950 году. В результате экономического развития появился закон об отмене старательства.

Старатель Григорий Маленьев принял новый закон без всякого протеста. Он счел его справедливым, а свое личное положение – улучшенным. Он был теперь обеспечен постоянным, круглогодичным трудом и постоянным же заработком. Запрет старания освобождал от соблазна легкой наживы, снимал бремя азартной погони за «фартом», сгубившей столько людей...

До подобных обобщений Маленьев, конечно, не доходил. Ему просто показалось естественным, что отныне не стало разницы в добыче свинца, меди, железа и золота. Ставки сдельные, сколько заработал, столько и получишь. Правильно!

Все работают на государство, а государство – мы сами.

Спорить нечего. Будем же и мы, приискатели, строить социализм.

2

А что же, «вольные старатели» разве не были такими людьми, разве намытое ими золотишко принимало не Советское государство? Так-то оно так, да не совсем так. Артель была не прочь иной раз обмануть государственного контролера. Такие «штучки» вроде и не считались дурными. Часть добычи утаивалась потому, что порой где-то поблизости осторожно вертелись любители золотого песочка. Тайные скупщики платили за грамм подороже, чем государственные золотоскупки. Кто хотел сбыть поскорее, обращался, когда не было под рукой скупщика, в швейное ателье. Там закройщик Бородский брал у «своих» металл, но платил хуже всех, хоть и больше, чем государственные золотоскупки.

Маленьев и некоторые его артельные товарищи смотрели на дело просто, памятуя одиннадцатую заповедь: не зевай. Григорий Иванович, вернувшийся с войны сержантом артиллерии с наградами, человек грамотный, знал, что золото, как уголь, нефть, любая руда и каждое дерево в лесу, принадлежит рабоче-крестьянскому государству, или народу, что одно и то же. На войне Маленьев честно защищал общенародное дело. Но тут у него руки сами тянулись. Подумаешь, великое дело из килограмма золота утаить сто или

двести граммов! Для государства – ничто. Копал золото Маленьев своими руками, работал своим инвентарем, ну и золото его. А о том, что он подрывает государство, Маленьев не хотел думать и действительно не думал.

Григорий Иванович считал себя таким же, как все, честным человеком. Замков не ломал, по чужим карманам не лазил, найденную вещь вернул бы, – ведь чужим не разживешься. А золото, намытое им же, его артелью, считал, во-первых, своим, во-вторых, государственным. Не будь бы скупщиков-спекулянтов...

А скупщики были. Григорий любил минуту, когда, вернувшись домой пьяным «в дым», но твердым в памяти и на ногах, он швырял жене мятый ком несчитанных денег. На кутеже, по-сибирски, спирта ушло больше, чем закуски, и Григорий кричал (ему казалось, говорил):

– Клавушка, женушка дорогая, тебе! Держи!

Наутро у Клавдии всегда находилась для «поправки» четвертинка с острой закуской и особо кислейший квас, от которого у трезвого глаза полезут на лоб и сам собой дико перекосится рот. А с похмелья – лучше не надо!

Крепкая хозяйка, из молодых да ранняя, из этих бешеных денег скопила на покупку дома, оформив владение на свое имя. У Маленьевых двое детишек. Матери надобно думать. Семейная жизнь – не гулянье девушек с парнями.

На Сендунских приисках Маленьев прошел все работы: бывал забойщиком, крепильщиком, драгером-машинистом, мотористом, отбойщиком, горнокомбайнером, съемщиком-доводчиком. Для Григория недоступной работы не было, силы и умения – не отбавлять.

Здесь мест рождения, как он про себя говорил, Маленьев повидал иные места, в том числе и за границу, лишь на военной службе. С ранних лет он слышал разговоры о старательском «фарте», с юности начал работать на золоте и отлично на глаз, на ощупь мог отличать турфы, или торфы, как здесь зовутся пустые породы, от содержащих золото песков и галечных осыпей. Маленьев имел «нюх» на металл. Имел и удачу. Вчера в забое ему под ногу сам собой попался невинного вида, но для своей величины тяжеленный камешек и хотя без речи, а заставил себя взять...

На прииске работал и Василий Луганов, с которым Маленьев учился в школе до пятого класса. Григорий в шестой класс не пошел, Василий же дотянул до аттестата зрелости. Васька Луг, как по старой памяти могли назвать его приятели, работал на прииске государственным контролером. Контролеров на приисках много. Для непривычного к приисковым терминам должность называется пышно, а на самом деле она довольно скромна по окладу и по знаниям, хотя и ве-

лика по значению: здесь требуется и строгость, и безупречная честность, и чувство ответственности перед законом.

Завершение цикла промывки золотоносной породы на каждом агрегате происходит в дутаре, или в колоде, или в шлюзе, как называют эти приборы на языке приисковой техники. По положению съемщик-доводчик – отнюдь не один, а в присутствии государственного контролера, горного мастера и представителя администрации вскрывает прибор, вручную домывает, доводит концентрат. О количестве золота оформляется присутствующими типовой акт, добыча ссыпается в так называемую кружку, и контролер в сопровождении одного из рабочих относит запечатанную посудину в кассу прииска.

Иной раз добычу не взвешивают на месте, а просто ссыпают в кружку. Сохранность госимущества обеспечивают печать и двое провожающих.

Таков писанный порядок. Но он не всегда соблюдается. Дело не ждет, у мастера много точек, представитель администрации тоже человек занятый. И порядок нарушается, а документы оформляются позднее, так что ревизии ничего неправильного не находят. В общем же без взаимного доверия действительно трудно жить; не веря товарищам, тяжело работать. И зачастую прибор вскрывается и все операции производятся рабочим лишь в присутствии государственного контролера.

К концу цикла у дутары, кроме Маленьева, были еще

двое: горный мастер Александр Иванович Окунев и контролер Василий Луганов.

— Грамм шестьсот будет, — прикинул на глаз мастер. — Ладно, ребята, вы довершайте, а я побегу.

Эти слова означали, что Окунев потом подпишет акт. Домывая и просушивая песок, Маленьев думал об ошибке мастера. Не шестьсот, а верных восемьсот граммов намылось, и с походом. Сразу видно тому, кто понимает. А Окунев и на Сендунских приисках человек отнюдь не новый, да и на других приисках работал еще до войны.

Луганов все время молчал. Перед взвешиванием он молча же достал из кармане конвертик плотной бумаги и ссыпал туда часть песка.

— Ты это, Василий, что? — негромко спросил Маленьев, хотя вблизи никого не было.

Не отвечая, Луганов взвесил остаток. Потянуло шестьсот тридцать граммов. Луганов тихонько спросил товарища:

— Слышал, что Окунев-то сказал? Боишься, дурной, что он акта не подпишет?

Глава вторая

1

Через несколько дней Маленьев и Луганов встретились у ларька – выпить по сто граммов. Вскоре к ним причалил Окунев. Горный мастер был, казалось, чуть навеселе.



Старатели

– Угощайте, что ли, ребята, хорошего начальника!

– Денег маловато, – полушутливо-полусерьезно возразил Маленьев, но продавец уже наливал стакан для Окунева.

Тот выпил, сплюнул:

– Пошла, поехала!.. – И, горячо дыша Маленьеву в лицо, сказал-прошептал: – Деньги, они, брат Григорий, на приисках всегда для умных людей имеются. Так-то, солдат, не зевай!..

Взявшись под руки, они пошли по мягкой немощеной улице поселка, от души выводя любимую песню Маленьева:

Где же ты теперь, моя девчонка,
Что за песнь пурга поет тебе?
Износилась ветхая шубенка,
Перестала думать обо мне.

Простые доходчивые слова умиляли гуляк. У них самих в жизни, вероятно, не случалось никогда таких романтических эпизодов, но разве дело в фактах? Им казалось, что были, или могли быть, или будут. Почему им знать и к чему думать? В русской песне все очарование кроется не в музыке, а в смысле слов. В первом размягчении чувств, вызванном водкой, приятелям все казалось проще, легче, красивее, чем было в действительности. Кончив знакомые куплеты, они начинали их вновь. Песни хватило до первой опушки тайги, до первой могучей даурской лиственницы.

И там Окунев сказал совершенно трезвым голосом:

– Деньги будут. По пятерке за грамм. Несите, сколько хо-

тите.

– Ишь, язви тебя, нашелся знахарь, – не без злости возразил Василий Луганов. – Потише шагай, Александр Иванович, не то штаны разорвешь. По пятерке?.. Это, брат ты мой, лучше к Бородскому сходить. А по восьми не дашь?

Сговорились на шести с полтиной. Вечером Маленьев хорошо провел время в приисковом ресторане. Не с Лугановым. На друге свет не клином сошелся. Друзья сочли, что теперь им, пожалуй, лучше вместе не слишком-то «шиться».

К Окуневу ушел и найденный Маленьевым самородочек. Так образовалась будто бы сама собой компания: Маленьев и Луганов крали, Александр Окунев пособничал и скупал краденое. Маленьев и сюда вносил свойственную ему деловитость. Для него кража золота была чем-то вроде спорта. Половчее сделать, и все тут. Впрочем, воров он себя не чувствовал.

Не всегда получалось так легко и просто, как достались первые двести с лишком граммов песка. Зачастую во время съема добычи присутствовали, по выражению похитителей, «посторонние».

Григорий Маленьев сумел сделать поддельный оттиск приисковой печати для кружек. Он напаял олова на обычные плоскогубцы, зачистил поверхности, отполировал их, вырезал и выдавил знаки печати. Вскоре это приспособление пошло в ход.

Контролер Луганов понес в кассу опечатанную кружку с

невзвешенным песком. Присутствовавший при съеме мастер Окунев оглянулся, будто соображая, кого назначить в провозатые, и сказал:

– Маленьев, ты, что ли, сходи.

Окунев знал о существовании фальшивого пломбира. В кустах Луганов и Маленьев сняли печать и отсыпали часть содержимого кружки. Маленьевское приспособление сработало отлично, в кассе не заметили поддельного оттиска на мастике.

Легкая нажива увлекала. За первые месяц-полтора доля Маленьева составила, не считая «собственного» самородка, шесть тысяч пятьсот с чем-то рублей. На пару они с Лугановым похитили больше двух тысяч граммов золотого песка.

2

Дни шли, как солдат в походе, – пять километров в час. А Василий Луганов размышлял об одном: куда Окунев де-вает золото? В кубышку копит? Нет, врешь... Где-то сидит этакий человечек, берет сибирский песочек и денежку гонит. Надо думать, дает не плохо. Проползали по приискам слушки о ценах на металл в дальних от Сибири местах, в России, как говорили здесь. Дают там будто бы и по двадцать, по тридцать даже рублей за грамм шлиха. А Санька Окунев швыряет им, как собакам, по шесть с полтинником!

Что там!.. Связь надобна, связь!.. А где ее взять? Ни у Лу-

ганова, ни у Маленьева этих самых «верных» друзей нигде не было. Распаяя себя жадностью, с нарастающим раздражением сбывал Василий Луганов последние граммы сделавшемуся ненавистным горному мастеру. Как-то Луганов сказал Маленьеву:

– Однако он, гад, на нас, наверное, здорово наживает!

– У него и риска побольше, – возразил тот.

– Не болтай, друг Гриша, зря. Сообрази-ка: мы с тобой, язви его, в пекло лезем, а он с нашего молочка сливки слизывает, как кот. А-а?

– Это ты в яблочко, – догадался Маленьев. – Самим надо сбывать.

Да... А кому? Кроме Окунева, как будто бы никто на приiske такими делами больше не занимался. А если и занимался, то никаких признаков, конечно, не подавал. Скупщики, которые вертелись до закрытия вольного старания около копачей-старателей, все куда-то позадевались, а расспрашивать и разыскивать в таких делах разве можно! Того и гляди налетишь.

Маленьев новыми глазами приглядывался к жизни Окунева. Горный мастер проживал в семье своего тестя Филата Захаровича Густинова.

Густинов, старик необычайно крепкий, несмотря на почтенные, лет под семьдесят, годы, малограмотный, но третий калач, владел собственным домом. Густинов появился на приисках около 1930 года и двадцать лет работал старате-

лем, немало исходив тайгу. С пятидесятого года Филат бросил работать, но через какое-то время поступил конюхом на одну из приисковых конюшен. Работенка не пыльная, стари-ковская. Дом у Густинова был поставлен на городскую ногу: пять комнат с хорошей обстановкой. Жил Густинов по-при-исковому богато, держал породистую корову. Хозяйничали у него смиренная, доведенная чуть ли не до немоты, но еще работница жена-старуха и вдовая дочь.

Когда-то жил на приисках младший брат Окунева, Гавриил. Где он теперь, неизвестно. Сам же Александр Окунев проживал у тестя почти на холостяцком положении. Его же-на Антонина появлялась на приисках наездами, постоянно же пребывала на Кавказе, в С-и, где у нее, как говорили, имелся собственный домик.

Почему так сложилась семейная жизнь горного мастера Окунева, никому не было дела. Клавдия Маленьева говори-ла, что у Антонины Окуневой такое здоровье, что ей надо жить на курортах. Или у ее дочери плохо со здоровьем...

Целились, целились Луганов с Маленьевым, но сами не могли ничего нащупать. И вольно-невольно, а все пригляды-вались к Александру Окуневу. Не на Кавказ ли он переправ-ляет металл? На Кавказ не на Кавказ, но Луганов спал и ви-дел, как в таком деле пристроиться не вором-поставщиком, а пайщиком. Как бы оседлать Окунева?

Однако Луганов был широк в мыслях, да узок в делах: по-просту говоря, трусоват. Окунева он побаивался и на реши-

тельный разговор с ним настроил, как гитару, Маленьева, за широкую спину которого был рад спрятаться в таком небезопасном деле: еще нахлещут по морде!

И вот как-то после работы Маленьев остановил Окунева:

– Поговорить надобно, Александр Иванович.

– О чем это? – повел Окунев крепким плечом.

Время было позднее, они встретились на улице. Густел вечер. Тайга, окружавшая приисковый поселок, наступала серой мглой, которая вскоре превратится в непроглядную тьму. Позванивали комарики, в домах зажигался свет. Слышно, как чей-то девчоночий голосишко звал с надрывом:

– Ва-аська! Домой иди! Иди же, управы нет на тебя! Да Васька же! Вот папа тебе!..

Мелькнув бесшумной тенью, прошуршал мягкими шинами велосипедист. Пользуясь таежным коротким летом, где-то пела хором молодежь. Незаметным для привычного слуха фоном всех звуков служила передаваемая по радио музыка.

– Ну, чего? – Окунев неторопливо шагал домой в сопровождении Маленьева.

Григорий придерживал Окунева за рукав.

– Слушай сюда, Александр Иванович. Дело не пустяшное. Я, – говорил Маленьев, забыв о Луганове, – тебе пораздобыл металла. Уж перевалило за два кило. Платишь ты по шесть с полтинником.

– Нашел место торговаться, – скороговоркой перебил

Окунев.

– Не шебарши! Мы сами можем шебаршить, – возразил Маленьев. – Ты, брат ты мой, голова, сюда слушай, тебе говорю. Не о цене речь.

– О чем же ты?

Они стояли рядышком и говорили вполголоса.

– Во-от, – продолжал Маленьев. – Металл – он будет, металлу достанем. Давай на пару работать?

– Как это? – удивился Окунев.

– Да так... – И Маленьев изложил свой план. Куда нужно, Маленьев будет ездить. Или, еще лучше, Окунев пусть здесь сидит собирает металл, а он, Маленьев, даже работу бросит. Тем более, он и отпуска еще не использовал. И после отпуска...

Григорий говорил несвязно. Как только он начал излагать свои мысли, его сковало понимание того, что все ни к чему, ничего с Окуневым не выйдет.

– Ты меня мальчишкой считаешь? – спросил Окунев. – И куда ты поедешь? Надумался!..

– Зачем? Я дело тебе толкую, – настаивал Маленьев из одного упрямства, понимая, что свалил дурака.

– А пошел ты, знаешь, куда?! – обозлился Окунев.

– Ты не посылай! – И Маленьев взял Окунева за грудь.

– Прими лапы! – оттолкнул его Окунев.

Они стояли один против другого, как петухи. Оба крепкие и нетрусливого десятка, они выжидали, кто первый ударит.

– Ты еще поплачешь!.. – выдохнул Маленьев. Он владел собой настолько, чтобы не ввязаться в глупую драку, но слов сдержать не смог и пригрозил: – А в тюрьму хочешь?

– С тобой вместе? – спросил Окунев. – Эх ты, тетеря! – И пошел своей дорогой.

Маленьев пристыл к месту. Постоял, постоял и пошел ко двору. Намек на разоблачение был пущен по подсказке Луганова. Разоблачать он, конечно, не собирался. Не только потому, что опасно, что и у самого «рыльце в пушку», – не в характере Григория был подобный образ действий, и сейчас он ощущал нечто вроде стыда за глупую, грубую угрозу, которая под стать лишь босяку-пропойце, а не такому «настоящему» человеку, каким он себя считал. Но слово не воробей...

3

Своим трезво-практичным рассудком соображал Александр Окунев, что Григорий Маленьев «зря набрехал». А все же пущенное занозистое словечко где-то зацепилось лесным клещом за толстую шкуру горного мастера-вора: колоть не кололо, но беспокоило.

Да, осталось этакое досаждающе-назойливое ощущение, зуд нервов и мозга...

И дома Окунев ни с того ни с сего принялся оглядываться. Была у него уемистая палехская шкатулка, не простая, а

штучной роскошнойшей работы. На вид хранилась там разная дрянь, с которой почему-то никак не может расстаться неаккуратный человек: письма без всякого значения, записки, записочки от давно оставленных женщин, от случайных приятелей, от жены даже, иные уже многолетней давности, ресторанный счет, – по привычке каждую бумажку совать в карман, а потом в шкатулку, будто бы нет помойной ямы, – собственноручно переписанные откуда-то сентиментальные стишки. Здесь же и собственные покушения на виршеплетство, и несколько тонких листиков с тусклыми оттисками модных романсов, и квитанции на давно полученные адресатами телеграммы и письма, и старые записные книжки, и непарные запонки, и шурупчики, и даже отвертка. Собственные, оставшиеся от удостоверений фотокарточки и несколько женских с посвящениями владельцу шкатулки...

Весь этот хлам перебирался Окуневым не раз и не без определенной мысли. В нем заведомо не было ничего, что могло бы дать даже специально настороженному взгляду ниточку к тайным делам мусорщика. Ни-ни! Сколько-нибудь компрометирующее уничтожалось сразу.

Окунев хранил бумажки с задней, хитренькой мыслью: пусть их, «в случае чего», изымают, пусть-ка попутаются, понастроят карточные домики да помечутся по холодным следам пустых адресов!

Хочешь не хочешь, а горный мастер попривык чувствовать руку, которая может взять его за воротник, и предпри-

нимал для успокоения разные весьма продуманные предосторожности.

Но этим вечером ворох бумажек в шкатулке показался ему заячьим многопутанным вздором. Отложив в сторону стишки, Окунев сгреб все остальное, сунул в печь и, открыв вьюшку, подпалил. А уж коли жечь, то так, чтоб не оставалось следов подозрительного бумажного пепла, – подсунул свой совет неосознанный страх.

Размешав золу, Окунев прошел на половину тестя. Со стариком выпили на сон грядущий по широкому стакану не простой водки, а старки. Повторили, обильно закусывая семгой, икрой, балычками двух сортов. В этом доме только для вида старались жить скромно.

Горный мастер выпил, осмелел и уже был готов посмеяться над собственной трусостью: нашел кого пугаться!..

Смеяться было, к сожалению, не с кем: Филат Густинов, тесть-собутыльник, знал о делах зятя ровно столько, сколько нужно. Многобывалый старик не был охотником лезть в секреты без дела, из простого любопытства. Не к чему, а в случае чего – и опасно.

Окунев, с хохотком пристукнув стаканом, не мог удержаться:

– На проверку-то Маленьев Гришка вышел собакой!

Старик намотал на ус предупреждение, смекнув про себя: не поделили, ясное дело. Но смолчал, даже сделал вид, что недослышал. А зять и не ждал ответа. Не нуждаясь в вечер-

них пожеланиях так же, как и в утренних приветствиях, они расстались молчком.

Александр заснул, как утонул. Утром же сразу все припомнилось, и горный мастер обозлился не на Маленьева, а на себя. Но ничего с собой поделать не мог.

Несколько дней он прожил, озираясь, расплачиваясь за краденый желтый металл какой-то утробной жутью и гнетом общего от обычных людей отчуждения. Встречаясь с другими работниками приисков, он ловил себя на мысли: «Этому-то легко, за ним ничего нет...»

На работу не выйдешь подвыпив, – на этот счет было строго, – и Окунев облегчал себя ежевечерним пьянством.

Вскоре он сумел выпрямиться, и все пошло по-старому.

Глава третья

1

– Все, что есть о золоте, – с такой просьбой Нестеров обратился в отдел каталога. Почти наудачу он заполнил несколько десятков требований на книги и статьи.

Он любил Ленинскую библиотеку, любил особенную тишину читальных залов, тишину, в которой невнятно слиты и заглушенные шаги, и чей-то шопот, и шелест страниц, и гул Москвы, смягченный сурдинами толстых стен и закрытых окон.

Когда Нестеров услышал о хищениях золота на приисках, когда понял, что ему придется принять участие в работе следствия, он захотел заранее познакомиться с золотом.

Узнать все? Почему бы и нет! Конечно, кусок истории, обязательно – сведения о технологии добычи, чтобы дать себе отчет, как может расхищаться эта часть государственного достояния. Экономическое значение металла. И достаточно. Во всяком случае, для Нестерова.

Вероятно, заинтересуется он углем, медью, нужное ему «все» было бы постигнуто именно в намеченном плане. Но золото, драгоценный металл, имело свое собственное лицо. План не то что забылся – он расширился сам собой, изме-

нился до неузнаваемости. Нестеров ушел в иные, более широкие сферы. В сущности, он узнал много, но не совсем то, что наметил.

Этот молодой человек в форме милиции, в погонах с тремя маленькими звездочками понимал, что если узнать «все» и в его силах, то уж, наверное, не в его возможностях: ведь золото появилось в жизни народов одновременно с первыми проблесками цивилизации. Цивилизация? Трудно определимое понятие. В данном случае Нестеров условно решил считать началом цивилизации появление торгового обмена. Нестеров был не ученым-философом, не историком, не экономистом, а следователем. Не стоит поэтому оспаривать правоту его определений и выводов. Одно он знал заранее и знал твердо: еще не было места на земле, где золото не служило бы эквивалентом и мерилom всех благ.

Повсюду, всегда золото было своеобразным аккумулятором богатства. Быть может, его не умели ценить аборигены Северной Америки, быть может, в погибших государствах майев, инков, ацтеков золото служило скорее для украшений: яркий желтый металл легко поддавался обработке и не боялся ржавчины. Гунну или монголу, бродившему в диких степях Азии, был неизвестен мягкий желтый металл. Золота не знали общины людей, до недавнего времени обитавших в уединении островов Океании. Им драгоценный металл был ни к чему, да его и не было в молодой вулканической и коралловой почве островов.

Где-то, как казалось Нестерову, внизу, в глубинах истории залегали мощные древнейшие цивилизации Китая, Индии, Египта, Ассирии. Там уже много тысячелетий назад золото заняло свое место, было основой валют и бюджетов, было емким, портативным эквивалентом продукта любого труда людей.

Искатели золота совершали подвиги мужества и терпения. Кровожадное божество – золото требовало жизней и получало их. И оно же всегда служило мишенью для проклятий: презренный металл, власть золота! Так всегда определяли, почти всегда бессознательно, но всегда точно растлевающую силу денег, символом которых служило золото и богатство одних среди нищеты других. Больше двух тысяч лет тому назад спартанец Ликург уничтожил золото законом.

Золото было дорого лишь потому, что в мире его добывали очень мало. Его никогда не находили в Европе. Золотых рудников или россыпей не было на территориях Англии, Испании, Италии, Франции, Германии, Польши, России. Балтийское побережье рождало только янтарь, песок горных рек Пиренеев, Скандинавии, Альп, Карпат и Балкан был бесплоден.

Не владело собственным золотом и побережье Средиземного моря. Египтяне добывали желтый металл трудным и сложным обменом с Востоком и, вероятно, с черными племенами Центральной Африки. Греки искали золото на Кавказе, где речной песок промывали на бараньих шкурах. Ны-

не мы знаем, как незначительны кавказские месторождения.

2

Всегда было общеизвестно, что золотом богата Индия, равно как и почти такими же драгоценными пряностями. Зная, что Земля – шар, Колумб пустился в Индию вслед за Солнцем. Веря в предание, что с Востока когда-то придут белые «тейли»-боги, мексиканцы доверчиво приняли гостей. Вскоре золото потекло в Европу из Америки в виде «золотой доли» завоевателей и «золотой доли» испанского короля, которую законы тех лет устанавливали в размере пятой части всего имущества, награбленного подданными испанской короны.

В городе Мексико испанцы нашли списки провинций с указанием местонахождения и мощности золотых приисков. Превращаясь в гациендадо, каждый завоеватель стремился получить поместье с золотоносными угодьями. Испанцы искали якобы скрытые запасы золота. Последний мексиканский владыка, племянник и преемник несчастного Монтецумы, был подвергнут пыткам. До сих пор живы легенды о горах золота, спрятанных от завоевателей. В Европе будто и не прибавилось золота. Оно, как и прежде, оставалось драгоценным металлом.

Потом и в Индии оказалось не так уж много золота. Во всяком случае, добыча золота не опережала роста населения

Земли. Заметно больше стало золота лишь в XIX веке. Не только совершенствовались способы добычи, были открыты новые россыпи в Южной Африке, на Аляске, на Дальнем Востоке Российской империи. Золото стало дешеветь по сравнению с веками XVIII и XVII, но все же ни валюты, ни торговый обмен не могли обойтись без золота.

А как было в России? Старая Московская Русь не имела своего золота. История русского золота начиналась где-то рядом со временем царствования императора Петра Первого.

Глава четвертая

1

Летом в южных приморских городах живой пейзаж создают курортники – люди, у которых не семь пятниц, а семь воскресений в неделю. Поэтому-то местные жители и тонут среди приезжих, как скромные колоски ржи в васильках, березке, диком клевере и прочих цветах, заплонивших полоску хлебов.

На главном почтамте в С-и было многолюдно, даже слишком многолюдно. Толпы курортников, организовавшись, по привычкам больших городов, во внешне нестройные и извилистые, а на самом деле строгие очереди, отправляли телеграммы, авиа-, заказные письма и пачками получали корреспонденцию у окон «до востребования». Перед окошками, отведенными для сберегательной кассы, толпились получавшие деньги по широким листам трехтысячных аккредитивов.

Белые мужские костюмы и глупо-полосатые днем ночные пижамы, шелковые женские платья, платья-халаты и просто халаты, прически простые, взбитые завивкой, украшенные модным венчиком завитых концов, и неизбежные соломенные, вернее, из древесной стружки, стандартные мужские

шляпы с черными или серыми лентами, шляпы, которые покупают восемь мужчин из десяти при мысли о летней поездке...

Душно. Пахнет смесью духов, одеколона и разогретого тела. Снаружи еще жарче, но там вдруг пахнет морским ветром, и сразу забываются тяготы почтамтских очередей. Все же как здесь хорошо! Ах, хорошо у моря!..

Полная женщина в возрасте никак не более тридцати лет, если судить даже и не по первому впечатлению, одетая в шелковое платье и в лаковых, но на босую ногу туфлях, пробиралась к выходу. Как видно, обладала она отменно крепким здоровьем, так как совсем не страдала от парной духоты почтамта. Лицо ее было весьма миловидно. Цвет кожи, тронутой солнцем, был свеж и молод, морщин и морщинок не было, а чуть вздернутый носик глядел сам собою довольно кокетливо. Завиточек светлорыжих и, несомненно, своего, природного, цвета волос от жары прилип ко лбу – не низкому и не высокому, а именно того размера, который подобал лицу этого типа, то-есть умеренно низкому и сжатому волосами от висков. Поэтому лоб казался выше, чем на самом деле. Крашенные брови и ресницы, под глазами синева, придающая дополнительную привлекательность лицу...

Перед тем как выйти на солнце, женщина раскрыла красный зонтик. Для этого пришлось бы опустить на землю только что полученную посылку – аккуратно зашитый, опечатанный мешок из серой парусины. Но женщина прижала бедром

к стене мягкую вещь. Мало ли какие ловкачи рыщут в пестрой курортной толпе!

Закрывшись от солнца, женщина пошла от почтамта вправо по главной улице, тянущей к базару свое белое под солнцем полотно. Ветер стих, как видно, к перемене, и сразу стало особенно жарко. Конечно, ходить на почту в такую жару – мученье, но посылка пришла еще три дня тому назад. Женщина волновалась, оттягивала. А вышло все очень хорошо.

Но куда девалась проклятая Нелька?

Девочка лет четырнадцати, в возрасте переломном, когда в фигуре уже сказываются будущие формы, а лицо остается детским, догнала мать. Мать была, несмотря на перенесенные тяготы в душном зале, в отличном настроении. Когда такая толпа, как-то лучше. До начала курортного сезона почтамт иной раз пугает мрачной, ждущей чего-то пустотой. И все же дочери попало по инерции:

– Чорт тебя, дрянь этакая, носит! – выбранила мать девочку. – Не могла минуту подождать. Нет, чтобы матери помочь. Тащи! – И она сунула Нелли посылку.

Нелли молча послушалась.

– Вот, корми вас, а сладости не жди, – ядовито сказала Антонина Филатовна Окунева, задетая молчанием девочки.

2

Домик у Антонины четырехкомнатный. От улицы его ста-

рается защитить небольшой, но густой сад с пыльными сливовыми, персиковыми и черешневыми деревьями. Через сад от калитки две дорожки: одна для хозяев, другая для курортников, приезжающих «диким» образом и называемых на местном наречии не курортниками, а отдыхающими.

Антонина Филатовна перекинулась с временными своими жильцами несколькими любезными словами, осведомилась, теплая ли сегодня вода «на пляже». Все это произносилось медовым голосом, не тем, каким она несколько минут назад разговаривала с дочерью.

Не передохнув ни минуты в прохладе комнаты, затененной обильной зарослью винограда «изабеллы», Антонина принялась расшивать посылку, а Нелли прошла в другую, маленькую комнатку.

В посылке оказались: отрез ситца на платье, отрез бумазеи на зимний халат, еще отрез бумазеи другой расцветки, поношенные женские туфли и пара женских валенок, тоже поношенных. Все было завернуто, по крайней мере, в пятнадцать газет, чтобы придать посылке аккуратный вид и предохранить содержимое от пыли. Почти одиннадцать тысяч километров в почтовых вагонах – не шутка! Гадать, в котором из валенок скрывается то, что было причиной связанных с посылкой волнений, длившихся трое суток и сегодня разрешившихся благополучно, не пришлось. Один валенок был тяжел, будто бы в ступню насыпали дробь или песку. Засунув руку, Антонина вытащила тряпье, которым был набит

низ валенка, и маленький мешочек убойно-тяжелого веса. Антонина сунула находку обратно и крикнула:

– Нелька, с утра ведро не вынесено! Чье дело?

Дочь вошла, открыла дверцу комнатного умывальника и вытащила ведро. Оно было полно лишь на треть, но девочка ничего не сказала. Пока дочь выносила ведро, Антонина спрятала тяжелый мешочек под умывальник, в дырку, образовавшуюся между подгнившими досками пола.

Когда Нелли вернулась, Антонина сидела за обеденным столом и на листе бумаги, вырванном из ученической тетради, выводила корявыми буквами текст следующей телеграммы: «Спасибо валенки получила скоро вышлю тапки папе путевки падаражали приезжайте встречу двадцать четвертого целую антонида».

В С-и мороз – бедствие, гибель для субтропических деревьев. К счастью, морозы здесь редкость. Но нет ничего приятнее, как сидеть дома в валенках – холодные зимние ветры стоят морозов.

– Беги на почту. Там перепишешь на бланк и отправишь, – скомандовала мать. Ей показалось, что дочь неохотно повинуется. Сильными руками она повернула девочку лицом к двери и дернула за косу: – Поговори у меня!..

Девочка в дверях повернулась и сказала, не глядя на мать:

– Я видела дядю Василия. Он придет к нам.

Антонина так и села:

– Проклятуший! И сюда его принесло! Это ты ему адрес

дала, мерзавка? – и вскочила, чтобы ударить дочь.

Увернувшись, Нелли внятно сказала уже с веранды.

– Нет. Он узнал в адресном! Он шел оттуда, когда заметил меня у почтамта.

– Не ори, паршивка, жильцы услышат, – прошипела Антонина. Дочь уже в саду и преследовать ее бессмысленно.

Девочка знала, что мать рассердится, узнав новость о своем брате. И была этим по-своему довольна.

3

Василий Филатович Густинов пошел на войну в 1942 году, девятнадцати лет от роду. С собой на неведомые военные дорожки он прихватил полученное при рождении сибирское наследство – крепкие, как у лося, и по-медвежьи широкие кости с добротнейшим мясом, сильное сердце с горячей кровью, не боящейся самых злых морозов зимних кампаний. В строю был солдатом достойным, по-сибирски стойким, выносливым на удивление и на посрамление любого европейского атлета, владельца горы могучих мышц, но изнеженно-го тела.

Домой Василий Густинов вернулся лишь в сорок шестом году, после двухлетнего пребывания в специальных госпиталях, инвалидом первой группы. Тяжелая контузия снарядом крупнокалиберной артиллерии вызвала стойкое расстройство нервной и мозговой деятельности. Выписывая Василия

Густинова из госпиталя, врачи надеялись, что в семейной обстановке больному будет лучше.

Сумрачно принял Филат Густинов «героя», как он иронически начал величать неудачника-сына – обузу, от которого пользы не жди.

Старуха мать, очнувшись от привычной забитости, поговаривала, повздыхала и вскоре опять умолкла, никому не перечая. Сестры вначале будто искренне пожалели брата, потом перестали замечать его, а вскоре перешли к прямой травле за «глупость», за «нечистоплотность», за «беспамятство». Особенно резка была Антонина, которая «брезговала» братом.

В семье Густиновых не нашлось ни моральной силы, ни сердечной теплоты, чтобы примириться с несчастьем близкого человека и помочь ему. Происходило, в сущности, то, что бывает в волчьей или в сорочьей стае: подранка заедают или заклевывают свои же, единокровные.

Сознавая свое отчуждение, Василий Густинов начал пьянствовать, спуская в пивных свою «хорошую», по выражению родных, пенсию. Возвращаясь пьяным, он бессильно скандалил, пытаясь выразить обиду плохо повинующимся языком.

Филат Захарович Густинов говорил откровенно:

– Лучше б погиб! Помолились бы, поплакали и прошло. Ныне кто? Обломок, не человек. Ну его, не хочу! И себе и людям в тягость.

Иногда, за поздним часом, Василия не пускали домой, и он ночевал где попало. Но холод и сырость пока сходили бла-

гополучно: силы еще были и боролись за жизнь.

Кончилось тем, что семья потребовала взять от нее Василия: защищал советскую власть, пусть же она о нем и заботится. С помощью грамотного зятя Александра Окунева Густинов подавал заявления «куда следует» не в столь откровенных выражениях, понятно, но смысл был тот же. Семья своего добилась: Василия приняли в какой-то специальный дом для инвалидов войны, конечно далеко от прииска Сэндунского. Густинов сам отвез Василия и, вернувшись, рассказывал с удовлетворением, будто, избавившись от сына, совершил достойный поступок:

– Васька устроен на курорте до конца дней.

Этот брат, о котором Антонина вспоминала не каждый год, незвано-ненужно оказался в С-и и, чего доброго, явится! И правда, не успела вернуться Нелли с почты, как Антонина услышала дребезжащий, заикающийся голос:

– Ок-кунева з-здесь жи-ивет?

Чтобы не дать Василию пуститься в разговоры с жильцами, Антонина кошкой вылетела на голос, втащила брата в комнату и, лихо подбооченившись, встала перед ним.

Василий был одет в свежий коломьянковый костюм, на который он, кажется, только что успел посадить несколько пятен. На его голове с какой-то странной лихостью сидела соломенная шляпа.

Брат пошарил в карманах в тщетных поисках носового платка и вытер рот рукавом.

– Здравствуй, сестра, – выговорил он с заметным усилием, но без запинки.

– Чего заявился? Что тебя сюда принесло? – злым полупшопотом спросила, как плюнула, Антонина.

– Пп-прислали, – сильно заикнулся Василий, но выпрямился и продолжал совсем хорошим голосом: – По путевке приехал подлечиться. – Он отлично преодолевал трудные сочетания звуков.

– Ну и лечись! А чего шляешься? Чего здесь позабыл?

Не отвечая, Василий Гусинов опустился на стул, вытирая лицо и мокрую шею руками. Его шляпа свалилась на пол.

В эту минуту в комнату вошел среднего роста толстый мужчина, одетый в щеголеватый чесучовый костюм.

– Гляди, Ганя, бог родственничка, братца послал дорогого, – метнулась к вошедшему Антонина.

Попав с яркого света в полутьму комнаты, Гавриил Окунев не сразу рассмотрел Василия.

– А-а, друг ситный! – воскликнул он, узнав гостя Антонины. – Во-от дела! Гора с горой не сходятся, а человек с человеком... Да ты небось и забыл, как меня звать-то?

Василий не ответил. Антонина объяснила, как ее брат попал в С-и и рассказала, что он даже успел побывать в адресном столе.

– Шустрый стал, – хахакнул Гавриил, нагнулся к Василию и ловко выхватил содержимое обоих карманов коломьянковой куртки брата Антонины.

– Правильно, так и есть. Вот справочка... А ну, друг, – сказал Гавриил, беря Василия под руку, – пойдём-ка, выпьем для встречи водочки!

– Б-больше н-не пь-ю, – заикнулся Василий.

– Не пь-ешь? – передразнил Гавриил Окунев. – Молодец. Образумился, стало быть? Видать, выздоровел. А здесь у тебя как? – И Гавриил издевательски покрутил пальцем перед своим лбом.

– А ты спек-кулянт! – припомнил Василий бывшему товарищу довоенные проделки.

– Пойдем, пойдём, – не обижаясь, настаивал Гавриил Окунев. Он засунул обратно в карманы Василия деньги, несколько десятков рублей, какие-то бумажки, оставив себе лишь справку адресного стола. – Пойдем же, дура! – И он вытащил Василия Густинова сначала в сад, а потом на улицу. Прделано это было с немалой ловкостью и силой. Впрочем, Василий не сопротивлялся. Он покорно поплелся рядом с Гавриилом. Но когда тот усадил его за столик, Василий запротестовал:

– Я тто-олько мми-неральную. Мне вред-но.

– Брось! Для встречи-то? – И Гавриил Окунев смешал в стакане Василия водку с пивом: – Пей!

– У-уж разве... – Василий протянул руку и проглотил смесь.

Гавриил приготовил вторую порцию «ерша».

– А деньги у тебя есть? – спросил Гавриил, делая вид, что

не знает.

Василий положил на стол две скомканные десятирублевки.

– Вот это ладно! Значит, угощаешь? А ну, по третьей!

Сам Гавриил пил чистое пиво. Рассчитывая так, чтобы Василий держался на ногах, он расплатился и вывел на улицу брата Антонины. Гавриил успел завести Василия в тупичок и усадить на большой камень. Раскиснув на жаре, Василий закрыл глаза и повесил голову. Оглянувшись, нет ли кого поблизости, Гавриил с размаху ударил Василия по затылку с мыслью: «Это чтобы тебе совсем отшибить память». Поддержав Густинова, Гавриил уложил его на землю приговаривая:

– Валяйся, мил-друг! Не Сибирь, не замерзнешь... А и замерз бы – не жалко.

Гавриил ушел, довольный собой: Густинова подберут, милиция выяснит личность пьяного и свезет его в спецсанаторий. А оттуда после такого похождения Василия уже не пустят гулять по городу. Ишь, еще спекулянта вспомнил, калекка!...

Они старые знакомые. И хотя Василий много моложе Гавриила Окунева, был между ними старый счет от предвоенного времени из-за одной девушки, когда молодой парень Вася Густинов был здоров, весел и собой красив.

Глава пятая

1

Гавриил Окунев потратил немало времени, чтобы надежно освободить жену своего старшего брата от близкого, но нежелательного родственника. А пока он этим занимался, у Антонины Окуневой сидел другой гость, желанный.

Леон Ираклиевич Томбадзе был рослым, мужественного вида брюнетом – из тех, кого принято называть жгучими. Носил он не черкеску с мягкими шевровыми сапожками, а просторный китель тонкого шелка, белые брюки, желтые туфли. И все же явственно чувствовалась стройность настоящего джигита, обладателя классической «осиной» талии.

Обняв Антонину рукой с длинными пальцами и ногтями, свидетельствующими о тщательном уходе, Леон вместе с хозяйкой любовался серебряными чайными ложечками.

– Какие миленькие! – восхищалась Антонина.

– Есть еще вещь! – с торжеством воскликнул Леон.

Он считал, что умный человек всегда сумеет продлить удовольствие. Глупо выкладывать все сразу. Томбадзе достал нечто и нарочито медленно стал разворачивать тонкую обертку и вату.

– Вот! Сам отделал и сам золотил.

Это была красивая, тщательно вызолоченная пудреница художественной работы.

– Леончик ты мой любимый! – Антонина наградила поклонника продолжительным поцелуем. Но тут же оттолкнула увлекшегося возлюбленного.

– Сумасшедший! А если кто войдет? Потерпеть не можешь?

Томбадзе, как борзый конь, выдохнул воздух через раздутые ноздри крупного носа.

– Слушай, Нина, когда ты своего бросишь? Отдашь ему Нельку и будешь совсем со мной? А?

– Легко тебе говорить! А металл?

– Что металл! Разве в Сибири один такой Окунев есть? Э, деньги будут!

Леон Томбадзе не на шутку привязался к этой свежей еще, пышной, белокурой и белокожей женщине. В известной мере их знакомство завязалось в связи с золотым песком.

В юности лудильщик, затем ученик ювелира, Леон Ираклиевич после войны и демобилизации некоторое время промышлял мелкой работой и некрупной спекуляцией. После денежной реформы сорок седьмого года и усиления борьбы со спекуляцией Леон завел свою ювелирную мастерскую-чуланчик, где работал один. Когда и здесь возникли затруднения, он устроился в артель. Из него выработался отличный мастер. Он работал со вкусом и тонко. Под полой принимал заказы из «давальческого» серебра и золота, хотя это, по по-

нятным причинам, и запрещалось законом. В компании с одним зубным техником Томбадзе наловчился изготавливать латунные коронки «под золото» для тех, кто хотел по дешевке блеснуть своим ртом.

Как скупщика золотого песка Леона нащупал Гавриил Окунев. Знакомство с Антониной было делом случая. Леон встретил ее и Гавриила на улице, и тот не мог не познакомить их. «Прекрасная белая женщина» сразу покорила Томбадзе.

Но золотые дела Антонины и Леона были для Гавриила Окунева совершеннейшей тайной. Он видел в Леоне лишь пылкого кавказца, влюбленного в жену брата, и относился к такому обороту с полнейшим равнодушием. Ему-то что за дело? Антонина баба ходовая, умная, не маленькая; у брата, к которому Гавриил никогда не питал нежных чувств, не убудет.

Ссориться с Антониной Гавриил ни за что бы не стал. Его интересовал только золотой песок. Без Антонины не будет и песка. Александр не доверял брату, и Гавриил это знал. Получая золото от Антонины относительно мелкими партиями, Гавриил был вынужден действовать быстро, а от искушений, как считал старший брат, младшего охраняла система, исключавшая получение слишком больших денег разом. Нет, дали тебе килограмм – отчитайся, получишь второй. Так-то! Дружба дружбой, а табачок врозь...

Гавриил возвращался, чтобы похвастать, как ловко избавил он сноху от ее брата. Тем временем жена Александра

Окунева беседовала со своим возлюбленным Леончиком на новую тему – новую, впрочем, лишь для этой встречи.

– По векселю остается заплатить за дом еще тринадцать тысяч, – говорила женщина.

– Почему, почему тринадцать? Шесть! – живо возразил Леон. По-русски он объяснялся чисто, щеголяя верностью произношения. Но когда спешил, то «почему» упрямо звучало у него как «пачиму», а мягкие согласные делались твердыми. Томбадзе твердо помнил счет, о котором шла речь. Антонина уже одолжила у него семь тысяч рублей. Случилось это ранней весной, в пылу их первых встреч, когда в садах С-и поэтично цвел миндаль, а в сердце Леона – новая любовь.

– Шесть, правда, – согласилась Антонина. – Я говорю, что тринадцать, так как буду сразу оправдывать весь остаток долга за дом. А те деньги, твои деньги, лежат сохранно, орел ты мой горный! – И женщина приложила свою мягкую щеку к крепкой, до синевы бритой щеке Леона Ираклиевича.

Те лежат... Это значило, как понимал Леон, что его Нина ждет остальные шесть. Женщина ему очень нравилась и хотя уже не могла дать ему ничего нового, он искренне стремился к браку и ревновал Антонину к мужу, к Гавриилу, к первому встречному. Но... эти шесть тысяч пусть она еще немного подождет. Так будет вернее.

«Встречу двадцать четвертого» – это значит, по двадцать четыре рубля за грамм золотого песка. Таково было значение одного места в зашифрованной телеграмме, подтверждавшей получение посылки с золотым песком. Значение других мест выяснится позже.

Двадцать четыре рубля за один грамм... По этой цене Антонина отчитается перед мужем. По какой цене он сам будет отчитываться перед своими компаньонами или перед теми, кто доверял ему песок, Антонина не знала, как и не знала, что за люди, с помощью которых ее муж достает золото.

В свое время ее, в сущности, естественное любопытство было грубо пресечено Александром Окуневым. Не получая удовлетворения, любопытство погасло, и женщине было действительно все равно, какими путями золото приходит к Александру. «Не попался бы он, тогда всыплюсь и я», – вот о чем иногда она думала в корчах страха, внезапно ее охватывающих. Чем острее были приступы, тем жаднее делалась Антонина. «Иметь как можно больше для себя!» – к этому она стремилась.

Гавриил Окунев платил ей «лаж» в два рубля с грамма. Так было условлено с мужем. На комиссионные Антонина должна была жить сама и содержать дочь. Сдача половины дома в наем приносила ей в течение сезона, с мая по октябрь,

пятьсот рублей в месяц. Зимой же за две комнаты больше двухсот рублей в месяц не давали.

Предполагалось, что Гавриил Окунев имеет право брать комиссионные в размере тоже двух рублей с грамма. Следовательно, он сбывал золото, если не лгал, по двадцать восемь рублей за грамм. Цены на золото постепенно повышались. Где-то существовал твердый постоянный спрос.

Осторожный Александр Иванович Окунев требовал, чтобы золотые дела делались лишь семейно. Антонина была обязана иметь связь только с Гавриилом.

Леон Томбадзе пришел в дом Окуневой поздно ночью, когда и ее дочь и квартиранты спали. На цыпочках, чтобы не так шуршала галька дорожки, Леон подкрался к дому. Было известно, что пол на веранде скрипит, и Леон легко перемахнул через подоконник открытого окна.

Под утро Томбадзе получил мешочек, в котором находились тысяча пятьсот двадцать граммов золота-шлиха. На сумму в сорок две тысячи пятьсот шестьдесят рублей. С собой у Леона было тридцать тысяч, остальное он остался должен своей Нине.

«Свет очей Леона» нарушала супружескую заповедь, сбывая золото не через одного Гавриила. Но лишь на совершившейся операции она заработала круглым счетом шесть тысяч рублей, то есть на три тысячи больше, чем передав золото Гавриилу.

Размягченный Ниной, Леон обещал в следующий раз при-

везти не только долг за золото, но и те шесть тысяч, которые были нужны его возлюбленной для окончательного утверждения во владении столь гостеприимным для Томбадзе жилищем.

Глава шестая

1

Поиски золота, вернее сказать, поиски истории русского золота вели Нестерова на Урал. Богатства этого старца среди семьи гор нашей земли давно и пышно воспеты. Не о них будет речь.

Здесь автор обязан отойти немного в сторону, оглянуться и что-то новое понять в многосмысленных страницах, в страницах со скорбью, с гневом любимых повестей истории России.

С виду будто бы просто: движение длани Петровой – и задымились домны, и ожил древний Камень от прикосновения императора-гения, опередившего свою эпоху, начертаниями которого только и питались последующие императоры все-российские, и прочее.

Истребления заговорщиков, подавление мятежных стрельцов. И Полтава, прославленная Пушкиным в годы, когда страдалец-поэт уже незримо склонялся над своей бессмысленно-преждевременной кровавой могилой.

И Петербург, «окно в Европу», и бритые, наконец-то, боярские и прочие бороды. И государственные дороги с лесами, срубленными сажен на сто в каждую сторону от проез-

жей полосы по той причине, что уж очень нестерпимо расплодились разбойники на святой Руси, насильственно посвящаемой в тайны европейской цивилизации.

Каналы и казнокрадство, мануфактуры и прутский поход, за крах которого расплатились бриллианты императрицы-супруги, данные выкупом-взяткой удачливому визирю, окружившему и русскую армию и самого Петра, опрометчиво доверившегося своему военному счастью.

И общее напрочно устоявшееся мнение о величии личности «преобразователя России».

Академический спор обо всем этом выйдет куда как далеко за рамки рассказа о желтом металле, о власти блестящего, мягкого золота. Как пробраться, за какую нить ухватиться?!

...В петровские времена ходить за сталью на юг было рано. В те годы над рудными залежами, ныне принадлежащими Украинской республике, лежала ничейная ковыльная земля – Дикое Поле. И верно, когда-то тронутая плугами южных славян степная почва давно впала опять в первобытную дикость. Русские кропили ее чужой и своей кровью, столетие за столетием сражаясь с успехом, не более чем переменным, с хищными кочевниками и со страшной не для одной Руси, но и для всей Европы, никем тогда еще не побежденной Турцией.

Потребность допетровской Руси в стали удовлетворялась озерно-болотными рудами Северного края. В Прионежье, в Приладожье и выше, к Северу, с незапамятных лет во-

дились рудознатцы и рудокопатели — люди, умевшие находить и обрабатывать железо. Промысел со своей техникой возник там еще до начала образования российской государственности среди славянских и иных аборигенов озерного края. В материальной культуре древности озерно-болотные руды имели чрезвычайное значение, удовлетворяя потребности народа в стальных орудиях и в оружии. Техника не изменилась до начала XX столетия. Фотография успела запечатлеть последние плоты, с которых олонецкие мужики ковшами поднимали руду со дна озер, и костры, служившие обогатительными фабриками.

Теперь же, как бы ходом событий своей истории, Россия обязывалась пойти за рудами на Урал. Значит, быть там не землепашцем, не охотником. Прийти металлургом, со впа-лой, изъеденной газами грудью под кожаным фартуком, в прожженных брызгами расплава валенках на тощих ногах работяги.

2

Кое-где на Урале сохранились древние копи, похожие на звериные норы. В их узких штреках позднейшие исследователи находили кайла из оленьего рога и странные рукавицы из шкуры, целиком содранной с оленьей головы. Снимали шапки перед превратившимся в камень обмедненным телом погибшего под обвалом рудокопа из племени, само имя ко-

торого давным-давно растаяло в тумане тысячелетий...

Медные копи, железо... А где же золото? Надо думать, и оно водилось на Урале. Недаром же в грамоты, которыми утверждались в условном владении лесами и недрами первые заводчики, вносилось угрожающее предупреждение. «Буде в заводских дачах найдется золото, те дачи отходят обратно в казну».

Золото – государственная регалия, то есть собственность. Золотосодержащие земли могут принадлежать только государству. В старой России частные лица допускались к поиску, к разработке золотых приисков, но добытчик, кто бы он ни был, обязывался весь металл сдавать в казну. По законам, утайка считалась уголовным делом.

Петр раздавал уральские земли сотнями тысяч десятин. Казенные заказы по хорошим ценам были обеспечены. Руда в земле, – копай; леса сколько хочешь, – выжигай уголь без стеснения. Работники, чтобы жечь уголь и палить дома, нашлись на месте: на вольных уральских старожилов навалилась «крепость».

Количество крепостных увеличилось населением Урала. Нигде, никогда в обширной России не царило такое злейшее-беспощадное рабство, как на Урале.

В далеком и спешившем Санкт-Петербурге не думали о свергнутом в забвение Человеке. Зато за петербургскими фасадами, будто уже заслонившими всю Россию, угадывалось безыменное народное действие, не записанное истори-

ей. Не вызрело время. Но не бессмыслен был инстинкт мужиков, целившихся тряхнуть так, чтобы земля расступилась и провалился хищный иноязычный щеголь Петербург.

...Первые поколения уральских заводчиков не стремились блистать в дворцовых «случаях». Непроторотно-плотно сидели они на своих заводах, упиваясь неограниченной властью над поставленными вне закона горнорабочими. Дорого обходился уральский чугун...

«Раб есть вещь господина. И господин всегда может и взять жизнь своей вещи и совершить над ее телом все, чего захочет». Эта формула мусульманского права, дожившая в Средней Азии до второй половины прошлого века, заслуживает быть высеченной на старых уральских домнах.

Физиолог И. П. Павлов считал, что условные рефлексy способны совершенно заслонить видение реального мира, но эта преграда может быть разрушена. Так случилось и с Нестеровым. Он еще не нашел золото, но нашлось нечто куда более ценное, чем золото.

Глава седьмая

1

Леон Ираклиевич Томбадзе уехал из С-и с утренним поездом, в семь часов. Полученный им мешочек был подшит изнутри к поясу брюк. Так как мешочек был плоским, а талия Леона тонкой, то заметить добавление к ней простым глазом было невозможно. Нащупать – ну, это невероятно!..

Томбадзе размышлял, куда он денет это золото. Ему самому, то-есть для удовлетворения частных заказов, нужно было не более двухсот граммов, и то с большим запасом. Намечалось требование на три корпуса для дамских ручных часов, по десять-двенадцать граммов каждый, несколько колец, коронки. Словом, пустяк. Зато такая работа была самой выгодной. Грамм золота выходил почти по сто рублей: ведь песок был хотя и не рафинированного, но высокопробного металла. В нем заключалось девяносто частей чистого золота, семь частей серебра и три части примесей других металлов.

Так уверяла Антонина Окунева, и, как думал Леон, она не обманывала. Леон не скупился на лигатуру, щедро добавлял серебро, а все же вещицы из сибирского песка выходили яркие, красивые. Подпольный ювелир смело уверял заказчи-

ков:

– Я сделал тебе не пятьдесят шестую, а семьдесят вторую пробу, слово чести, друг! Золото старое, хорошее, из старинных вещей наших славных предков, друг!

Поезд бежал красивейшими местами Кавказа, а Леону было на них наплевать. Он привык к горам и не находил в них ничего особенного. «Горы есть горы, и все тут, дарагой...» Леон не понимал приезжих, которые восхищались кавказской природой. «Природа?... Ва! Деньги...» Когда есть деньги, всякая природа хороша. А без денег? Леон по-своему понимал поэтов: едят – получают деньги. Получают за глупости? Пусть!

Единственное стихотворение, которое ему действительно нравилось, содержало следующие мудрые строчки:

Вот барашек поднял крик,
Это блеет мой шашлык.
Помидор совсем в соку,
Это соус к шашлыку.

Он так и воспринимал жизнь, Леон Томбадзе, – брюхом. Но брюхом в широком смысле этого слова: не одним лишь вместилищем для шашлыков, вин и прочих элементарнейших наслаждений.

Он был весел, любезно-обходителен, ласков с людьми, отлично танцевал лезгинку и некоторые другие танцы, играл на баяне и на гитаре. На военной службе, в своей части, писарь

Леон Томбадзе пользовался репутацией весельчака и хорошего товарища. У него были качества, которые, быть может, ценнее способности к высокой доблести и к суровому подвигу самопожертвования. Ценнее, конечно, для того, кто имеет такую репутацию, но не для нашей армии и не для целей, которым она служит...

Человечество удивительно как богато разнообразием и противоположностью характеров. Попытка охарактеризовать какой-либо народ одной, якобы лишь ему присущей чертой закончится смешной и нелепой неудачей. В одной книжке двухсотлетней давности, в таком солидном научном труде страниц на полтора, ученый немец изложил «всемирную» географию, снабдив чудовищные по своему неправдоподобию сведения кратчайшими характеристиками народов. В разделе «Италия» он сообщил, что итальянцы народ бедный и «занимаются тем, что занимают друг у друга». Столь же удивительные открытия были сделаны этим автором в части русских и других народов.

Опасно, очень опасно вообразить себя художником, одним мазком кисти вершащим все...

И действительно, не всегда так просто разгадать под вежливыми манерами, под свойственной иным людям обходительностью в обращении их подлинную сущность. Встречаются и совершеннейшие эгоисты. Вы можете общаться с таким человеком год, два, будете считать его своим другом, личностью безупречной, и вдруг ваши и его интересы в чем-

то столкнутся (или вы увидите, как столкнулись его интересы с интересами другого человека), и вы будете поражены той легкостью, той даже беспечностью, с которой ваш «друг» совершит любую подлость. Подлость по вашему мнению, не по его. На него как-то трудно сердиться, – он не поймет. Он обладает органической способностью к самоуверенной гадости и искренне убежден, что лишь идущее ему на личную пользу и хорошо в нашем мире. Он никогда не раскается, убеждать его – потерянное время. Его можно испугать, потому что под аллюрами храбреца он последний трус. Это человек-желудок.

Итак, вернувшись домой после демобилизации, Леон Томбадзе привез хорошую характеристику из части, медали и один орден, правда, потерявший для него значение с отменой некоторых материальных преимуществ, которые давала орденская книжка.

Сейчас, в вагоне, Томбадзе рассуждал сам с собой о трех вещах. Первая – вернее, первоочередная: кому повыгоднее сбыть излишек металла? Вторая: как добиться, чтобы Нина бросила мужика Окунева? Томбадзе с Окуневым не встречался, но, как всегда бывает в таких положениях, со слов жены составил себе понятие о муже как о совершеннейшем чудовище. И третья: как не упустить скупку золотого песка после того, как Нина расстанется с Окуневым?

Леон прихвастнул «своей Нине»: он не знал, откуда еще, кроме нее, можно доставать желтый металл. Он лучше знал,

куда его сбывать.

2

Но и со сбытом дело обстояло не так уж хорошо. Всякая частная торговля процветает в условиях конкуренции. Даже подпольно-уголовные сделки, чтобы продавец краденого мог набить цену, нуждаются «в рынке», то-есть в нескольких покупателях. Для крупных партий у Леона Томбадзе имелся лишь один покупатель, и возлюбленный Антонины Окуневой находился в невыгодной для купца позиции.

Как-то, еще в прошлом году, когда Гавриил Окунев сговаривался с Леоном Ираклиевичем Томбадзе о первых партиях металла – партиях мелких, по сто-двести граммов, – ювелир сообразил, что у него самого найдется не так уж много заказчиков на золотые безделки. Упускать же желтую струйку, от которой немало налипнет на пальцы, ему не хотелось. И тут Леону вспомнился один «интересный человечек».

Томбадзе обитал в небольшом городе Н-ке, отделенном несколькими часами езды от С-и. В Н-ке же в собственном доме проживал некий Арехта Григорьевич Брындык, сильный старик лет под шестьдесят, мастер на все руки. Он и слесарил, и столярничал, и рисовал красками. Потрафляя вкусам местного мещанства, Брындык разрисовывал клеенки и холсты, превращая их в настенные «ковры». Художник доходчиво и лихо изображал русалок с пышным телом и с га-

зельными глазами, на берегу ручья в томительных позах, или задумчивых дам с зонтиками, дам «старинного покроя», с тончайшими талиями, широчайшими бедрами, со сливочным низким декольте. Словом, малевал Брындык совершенную дрянь, но в ярких красках и, надо все же признать, с каким-то намеком на фантазию, что и обеспечивало сбыт. Брындык работал не кустарем-одиночкой, он состоял членом артели «Кавказ».

Он должен был понимать толк и в золоте...

Леон, бывший в те годы «зеленым» подростком, помнил, что за несколько лет до войны Брындык работал старателем в системе «Севкавзолото». Помнил и знал потому, что встречал Брындыка на базаре, где тот подторговывал с рук продуктами и товарами, получаемыми в магазинах золотоскупки за сданное золото.

Потом Брындык исчез. Говорили, что он был арестован за спекуляцию золотом и что вообще он был не столько старателем, сколько охотником за другими старателями, но не с винтовкой в лесу, как в старину в Сибири, а с рублями: Брындык якобы скупал золотой песок и самородки.

Года через два или через три после окончания войны Брындык вновь появился в Н-ке, постаревший, но сильный и попрежнему важный в манерах – хозяин. Зажил в том же доме, что прежде. И говорил: «мой дом», хотя владелицей числилась жена.

Брындык жил собранно, уединенно, строго. Никто не ви-

дал его пьяным, и мало кто его посещал. Редких посетителей Брындык встречал в пристройке к дому – обширной, как сарай, комнате, где в углах валялся всевозможный хлам, а на вбитых в стены гвоздях и на самодельных полках покоился столярный и слесарный инструмент, кисти, краски. На земляном полу стояли подрамники для заправки «ковров».

В пристройке застоялся запах махорки, клея и красок. Такая смесь служила как бы основой для какого-то цепкого и не совсем приятного запаха, повсюду сопутствовавшего самому хозяину.

Пристройку эту, где роль кровати исполнял деревянный топчан, Брындык витиевато именовал своим «апартаментом», про жену же говорил просто – «она», если ему изредка приходилось упоминать о супруге.

«Она» и проводила к хозяину Леона Томбадзе, впервые появившегося во владении Брындыка с целью завязать деловые отношения. Преследуемый по пятам здоровенным псом (если не хозяйка – порвет!), Леон проследовал в пристройку. «Она» тут же ушла, а хозяин предложил Томбадзе круглую затейливо-самодельную табуретку и устался на гостя серо-зелеными глазками.

Не смущаясь ни нависшими над глазами сивыми бровями, ни хмурой нелюбезностью Брындыка, Леон приступил:

– Есть золото, дорогой. Хочешь сделать дело? Не хочешь – скажи. А-а?

– Ишь, шустрый, – воркнул Брындык. – Вас звать Томбад-

зе? – Он помнил Леона. – Ну, покажите, что есть.

Леон достал плоскую аптечную склянку.

– Образец? – спросил Брындык.

Леон пожал плечами.

Брындык опять испытующе воззрился на посетителя:

– Та вы не бойтесь. Сколько всего у вас есть металла?

– Еще найдется.

– Да, – согласился Брындык, говоря будто бы не с Томбадзе, а с собой. – Что ж, посмотрю...

Достав с полки глубокое фаянсовое блюдо, Брындык выпустил на него тяжелую струйку песка. На полках, среди красок, нашелся пузырек с кислотой, а среди разных инструментов – сильная лупа. Испытав драгоценный металл по всем правилам, Брындык заключил:

– Сибирское, грязноватое. Видать, зимней добычи.

Из кучи хлама, валявшегося в углу, Брындык выудил коробку, где нашлись аптечные чашечные весы и разновески.

Ювелир Томбадзе оценил ловкость, с которой, не потеряв ни крупинки, Брындык взвесил золото: оказалось девятью с четвертью граммов. Взвесив, Арехта Григорьевич с той же ловкостью ссыпал песок на бумажку, с бумажки – в склянку, которую протянул Леону:

– Держите.

– Покупаете? – спросил Томбадзе, невольно переходя на «ВЫ».

– Покупаю.

– Так берите.

– Нет.

– Почему?

– Не подходящее дело. Мелочь. Килограмма два-три взял бы. А так – чего мараться!

«Вот это дело!» – подумал Леон. Вопреки категоричности Брындыка, Томбадзе не собирался уходить, он настаивал:

– Потом будет больше, дорогой. Пока берите это.

– А поговорку, милый, знаешь? – Теперь Брындык перешел на «ты». – Кто «там» не был – будет, а кто был – не забудет.

– Знаю.

– А «там» был?

– Нет.

– А другие были. Пока это, – Брындык указал на склянку с золотым песком, которую Томбадзе держал в руке, – пока это сюда доехало, к нему сколько народу привесилось? Не знаешь? А я знаю. И верно тебе говорю: возьму, много возьму, но из ближних рук. А это? Небось по всему Кавказу ходило. Я вижу: металл не здешний. Этот металл дальней дороги. У одного, кто его держал, жена, у другого – любушки, третий сам, сукин сын, языка не удержит. И у всех – чтоб их черт драл! – друзей-приятелей по пьянке не сочтешь. А ты хочешь, чтобы я, самостоятельный человек, мазался в вашу компанию из-за паршивых ста граммов! По-настоящему, мне нужно взять тебя за шиворот и сволочить с твоей дря-

нию в милицию.

Как видно, недаром Брындык и «там» побывал и всего на-
видался. Его речь дышала чрезвычайной убедительностью.
Леон не смутился: угроза милицией его не испугала. Фигу-
ра старика сразу выросла в глазах Томбадзе, и он преиспол-
нился доверия. Делового доверия, конечно. Не зря, не зря он
сунулся к Брындыку, – он нашел настоящее «место».

У Томбадзе хватило выдержки и ловкости, чтобы, не про-
говариваясь, убедить Брындыка в краткости и безопасно-
сти пути, которым прибыло на Кавказ сибирское золото. Но
и Брындык настоял на своем и заставил Леона принести сра-
зу больше килограмма. Заплатил Арехта Григорьевич хоро-
шо: по двадцать два рубля за грамм.

После первой встречи Леон побывал у Брындыка считан-
ных пять раз. Разговаривали по-дружески, не «на ножках»,
как во время первой встречи. Брындык откровенничал даже,
с расчетом и для себя безопасно, так как он не называл ни
имен, ни городов. По его словам, у него был «один человек»
поблизости и кто-то в Средней Азии. Эти люди могли купить
любое количество золота, а также и драгоценные камни, то-
есть бриллианты чистой воды и весом не менее одного кара-
та.

По весу карат равен двум десятым грамма. В кольцо, в
браслете, в ожерелье крошечный камень выглядит довольно
внушительно.

Леон Томбадзе, как ювелир, толк в камнях понимал, хо-

тя ему почти не случалось держать в руках хорошие бриллианты. Имел он дело обычно со всякой мелочью, главным же образом с разнообразными сплавами и стеклышками, которые, по его мнению, были ничуть не хуже настоящих камней по красоте.

Томбадзе знал, что в старину высоко ценились изумруды, сапфиры, рубины. Беспорочный цветной камень мог стоять дороже бриллианта. Но рубины потеряли цену после того, как научились изготавливать искусственно эти красные камни, мода на сапфиры и изумруды прошла. А вот каратные бриллианты остались мировой валютой, их ценность точно соизмеряется с ценностью золота. Реальная ценность, которую ищут, чтобы припрятать. Словом, где-то и кто-то готовится к смутным годам...

Леон Томбадзе умел поговорить о политике «по душам», то-есть с многозначительными подмигиваниями и недомолвками: дескать, мы с вами умные люди и друг друга понимаем.

Конечно же, никакой программы у Томбадзе не было. Не имея никакой склонности к отвлеченному мышлению, он, сам того себе не формулируя, органически не принимал социализм.

Хорошая, чистенькая бабенка, сочный шашлык из молодого барашка, плов, шурпа, острое, как бич, харчо, ароматные фрукты, настоящее виноградное вино – их так много, хороших вин! – веселые приятели, мягкая постель, кино, лег-

кая музыка и поменьше труда, и все это немедленно, тут же, хоть с неба. Остальное – для ишаков.

Известную формулу «каждому – по труду» Томбадзе повернул по-своему: получить – побольше, дать – поменьше, а лучше совсем ничего не давать.

Без всяких размышлений приспособился рак-отшельник запрягивать мягонькое – но вооруженное присоской! – брюшко в затейливые витки не им построенной раковины. Залез, живет-поживает...

Так и Томбадзе приспособился к социалистической форме.

3

Леон не подозревал, что Брындык давно и пристально наблюдает за ним.

В первое посещение Томбадзе, сопровождаемый молчаливой «ею», еще не успел выйти со двора, как Брындык напялил на голову соломенный брыль с широчайшими обгрызенными полями, а на белую рубаху с расшитой по-украински грудью набросил выхваченное из кучи старое парусиновое пальто. Ворчание пса смолкло – посторонний удалился, и Брындык вышел на улицу. Стройная фигура Леона маячила уже метрах в ста. Брындык пустился следом и установил, что Томбадзе зашел не к себе. Где он жил, Брындыку было известно.

Брындык подождал, сидя в тени на скамейке. Минут через двадцать Томбадзе снова появился на улице, и Брындык проводил его до квартиры.

На следующий раз – как пишут в ремарках театральных пьес – повторилась та же игра. Идя по улице, Томбадзе оглянулся, увидел Брындыка, но не узнал.

На третий раз Брындык подметил, как Томбадзе отделил от полученных денег какую-то часть. Быть может, наблюдение было не таким и существенным. «Леонка» обычно раскладывал деньги по разным карманам. Но на этот раз цена на золото повысилась. Бесспорно было и то, что, возвращаясь от Брындыка, Леон обязательно заходил в один и тот же дом.

Арехта Григорьевич решил провести глубокую разведку. Одевшись в хорошую пиджачную пару, с солидной, подобающей возрасту тростью, в фетровой шляпе, а не в соломенном брыле, он явился в дом:

– Я слыхивал, вы продаете домик с усадьбой? – обратился он к хозяйке, женщине тучной, пожилой и весьма молодящейся.

– Нет, я не думала продавать, – возразила женщина и тут же с любопытством осведомилась: – А от кого вы слыхали?

Опираясь на трость, Брындык сказал:

– От случайного человека. Или я адрес не так запомнил, извиняйте.

– Соседи будто думали свой продать, – направила хозяйка посетителя, но Брындык не собирался уходить.

– Я не для себя ищу. Знакомец один пишет из Москвы. Человек денежный, ученый, собственную дачу имеет под Москвой. Однако ему по здоровью врачи велят переехать в южные местности. За хороший дом он может вручить, по своему состоянию, хорошие деньги.

– А сколько, к примеру? – поинтересовалась хозяйка, хотя и не собиралась расставаться со своим владением.

– Так вы дозвольте мне посмотреть?

И дом, и сад, и двор – все удостоилось и сдержанных похвал и уместной критики опытного человека. За этими важными и интересными для владелицы разговорами Брындык сумел кое-что выудить о постояльце. В доме имелась комната с отдельным выходом в сад. «По этой-то причине», как объясняла хозяйка, жильца она держит. И пусть в доме живет хоть и не родной, а все же мужчина.

– Гаврила Иванович Окунев. Вы его не знаете, случаем? – болтала хозяйка. – Служил механиком в тресте, теперь работает в районе, однако большую часть времени проживает здесь по делам.

– Не здешний? – спросил Брындык.

– Нет, сибиряк.

Без труда Брындыку достались и другие мелкие подробности: платит Окунев хорошо и аккуратно, человек солидный, женщин не водит, выпивает хотя, но кто же из мужчин не пьет?

Пьет, не пьет... Болтливая баба! Для Брындыка было важ-

но, что знакомый Томбадзе – сибиряк. Нашелся у Арехты кто-то в тресте, кто подтвердил, что Окунев там работал. Механик знающий, а что он за птица – никому дела нет.

Пока Брындык обдумывал собранную информацию, нечто вроде случая свело его с Гавриилом Окуневым. В сущности, это вовсе не был случай.

После того как Леон побывал у Брындыка в четвертый раз, старик, не считая нужным выслеживать его, сам для опаски от пса проводил гостя на улицу. Оставшись во дворе, Арехта заметил, как следом за Леоном прошел мимо ограды какой-то коренастый, плотный мужчина. В его повадке нашлось для Арехты нечто не от обычного прохожего.

Старика кольнуло. Выслеживают? Нет, «те», как Брындык именовал милицию, работают чище. Закаленный, готовый ко всему, Арехта Григорьевич не испугался. Выглянув на улицу, он спокойно наблюдал за этим прохожим. Ба! А не Окунев ли это? Брындык однажды видел, как этот человек входил в неудачно приторгованный им дом. Окунь и есть – жирный, пучеглазый, не черноморский, а северный окунь.

– Так воны, шпана, друг за дружкой ходють, як голубок за голубкой! Ходьте, други, ходьте!.. – усмехнулся Брындык. Для шутки, иной раз для маскировки, он любил мешать русскую речь с украинской.

Соображая, старик чмокал, высасывая спелую, мягкую сочно-душистую грушу. В этом году куда как хороши вышли груши!

Без труда и без хитрых маневров Брындык устроил себе встречу с сибиряком. Не Гавриилу Окуневу было меряться с Брындыком, с его крепкой волей и большим опытом. Они спелись. О Леоне – ни намека. Окунев не узнал, откуда до Брындыка дошли сведения о сибирском золоте. Арехта Григорьевич не связывал концы, чтобы не получалось сетки.

Глава восьмая

1

И ни о чем этом не знал, не ведал легкомысленный оболъститель Леон Ираклиевич Томбадзе. Он считал, что его мужские достоинства дали ему возможность, овладев сердцем Антонины Филатовны Окуновой, перехватить у Гавриила Окунева все сибирское золото.

Такая уверенность основывалась на фактах: в последнее время Леон не получил от своего приятеля Гани ни одного грамма желтого металла.

– На приисках стало уж очень трудно, такие строгости во всем пошли, – объяснил Окунев.

Леон не вел и глазом, думая про себя: «Ври, ври, дорогой!» Возлюбленная снабжала Томбадзе золотым песком преисправно. Леон не подозревал, что своим ловким ходом Брындык устранил его как посредника между собой и Окуновым. Отныне сендунское золото текло к Брындыку двумя ручейками: и от Окунева и от Томбадзе. Сличая, Арехта Григорьевич отличнейше видел, что и тот и другой снабжают его золотом одного происхождения, но помалкивал.

В этой коммерческой компании каждый скрывал свои действия, свои намерения и особенно «заработки». Антони-

на Окунева не говорила Леону, что дает ему не все получаемое ею золото, а лишь часть. Окунев, сговорившись прямо с Брындыком, клал себе в карман комиссионные, ранее получаемые Леоном. Леон же, идя путями любви и, по восточному обычаю, усыпая эти пути розами в виде денег на покупку дома и других подарков, сумел срезать в свою пользу часть доходов Гавриила. Но Антонина, кроме того, «зарабатывала» на Леоне больше, чем на Гаврииле, чего Леон, конечно, не знал. Нравы этой компании были типичнейшие для капиталистического общества, для мира дельцов, воспитанных на законах конкуренции.

Итак, Леон Томбадзе хотел найти еще лучший «рынок сбыта», чем у Брындыка. Тот платит хорошо, другие могут дать больше. Действуя по поговорке о рыбе, которая ищет, где глубже, Леон решал первую задачу: куда повыгоднее сбыть золото, пришитое в мешочке к поясу брюк, и сказал себе: «Ты, дорогой, поедешь прямо на юг».

Недалеко. Леон проспал в вагоне одну ночь и прибыл. Город, знаменитый в анналах борьбы рабочего класса, прославленный героями-мучениками за дело победы пролетариата, ныне славный трудовыми победами, оснащенный удивительной техникой, одно из немногих мест на всем земном шаре по своим подземным богатствам и одно из немногих, где люди берут их культурно. Все это Леон слышал не раз, но для него – набор слов. «Ва, стихи!..»

С вокзала до центра Леон доехал на такси. Следуя прави-

лам конспирации, заимствованным из кино и из некоторых романов (это не в укор ни кино, ни романам), он отпустил машину на углу, а сам прошел еще два квартала до поворота на боковую улицу.

Здесь! Однажды Леон уже посетил этот дом, и хоть было то давно, не ошибся, нашел нужный ему подъезд и поднялся в лифте на третий этаж: новый дом имел все удобства.

На звонок вышла домашняя работница и провела Леона Ираклиевича в комнату, убранную коврами. Старый Абубекир Гадыров, который жил на покое в семье дочери, сердечно приветствовал Леона: вместе с гостем в дом входит бог, как гласит завет предков.

Ни о чем не расспрашивая, старик Гадыров заставил Леона начать с ванны после дороги, потом принялся потчевать его чаем. Леон выждал время, предусмотренное приличиями, и изложил свое дело: у него есть с собой немного золота, – случайная покупка. Сейчас оно ему не нужно, хотел бы продать. Не поможет ли Абубекир сыну своего старого друга Ираклия? Леон будет благодарен, так благодарен!..

Старый Гадыров вздохнул и помолчал. Проведя обеими ладонями по бороде, поднял глаза к небу, промолвил: «Аллах!» – и отодвинул чашку, – деловому разговору должна предшествовать благодарственная молитва насытившему их богу, милостями которого живут люди. Затем Абубекир приподнял брови, и указал глазами на дверь:

– Дочь и зять... Партийные. Они не понимают жизни и ее

требований. Дай мне подумать.

Абубекир закрыл глаза. Он сидел неподвижно и долго, очень долго, как показалось Леону, боявшемуся нарушить лишним движением размышления старика.

Внезапно Абубекир встал с живостью, обнаружившей запас сил, не тронутых дряхлостью.

— Я знаю, что делать. Пойдем, сын моего друга, бог нам поможет.

2

В старом городе, помнившем еще персидское владычество, Абубекир так долго крутил Леона Томбадзе по узким лабиринтам улиц и переулков, что тот окончательно потерял направление. Однако нужный им обоим дом нашелся. А в доме, не таком древнем, как город, но достаточно старом, нашелся один кажар, иначе говоря, человек иранского происхождения.

Мужчина средних лет, ближе к молодости, чем к старости, кажар носил летний костюм, ни по покрою, ни по ткани ничем не уступающий лучшим модным картинкам. Кажар беседовал с Абубекиром весьма непринужденно, чему способствовали могучие, чуть ли не крепостные стены старого, но не ветхого жилища.

Кажар уносил куда-то золото, тут же в доме, для проверки и взвешивания. Леон получил по сорок два рубля за грамм

золотого песка!

После расчета кажар не стал задерживать посетителей. Он почтительно пожал руку Гадырова, а Леону даже не кивнул.

Опять Гадыров крутился вместе с Леоном по старому городу. А вышли они в новый город почему-то не там, откуда вошли. Видно, это устраивало Гадырова...

Дома старый Абубекир получил благодарность Леона: по три рубля с грамма. Гадыров предложил прогуляться. В лице и в манере старика появилось что-то, напоминающее голодного шакала. Он взял на сохранение деньги Томбадзе, исключив тысячу пятьсот рублей, оставленных на расходы: по обычаю предков продавец, кроме комиссионных, угощает посредника.

Вместо ресторана Гадыров привел Томбадзе в «одно очень хорошее место».

Пили не много и только водку, так как пророк, запрещая правоверному шииту сок виноградной лозы, ничего не сказал про хлебный спирт. Пили и ликеры, ибо последователи Магомета, пользуясь плохими познаниями пророка в органической химии, могут и эту смесь потреблять без греха. Для «христианина» Томбадзе не существовали запреты, ограничивающие Гадырова. Леон предпочитал виноградные вина, но здесь следовал примеру старика, чтобы не оскорбить щекотливое благочестие верующего.

В этом хорошем месте, в чьей-то квартирке, кроме спиртных напитков, нашлись и две «белые женщины», как их

назвал Гадыров. Слегка развеселившийся старик напомнил Леону об Аврааме, которому было сто лет, когда бог послал ему сына, и скрылся с одной из хозяек.

Леона тоже не обидели недостатком внимания.

Когда Томбадзе прощался с Гадыровым, тот очень серьезно напомнил сыну своего старого друга:

– Что было, забудь; куда ходили, – никуда, что продали, – ничего. Не было старого города, не было кажара. Не думай искать без меня, если еще будет случай, тот дом. Почему – понимаешь?..

И так взглянул в глаза Леону, что тому стало жутко. Чорт с ним, поскорее уехать!

Сам того не зная, Леон легкомысленно прикоснулся к страшному и опасному месту, к пункту контрабанды, с узлом сложных операций, связанных с переброской через границу драгоценностей, золота, валюты, с торговлей наркотиками, со шпионажем. Старый развратник Гадыров пособничал тому, кого называл для Леона кажаром. Одно из имен этого кажара было, кажется, Хаджияхаев. Но мы оставляем эту историю, она слишком далеко увела бы нас в сторону от настоящего рассказа.

Глава девятая

1

Юрист Нестеров имел представление о старых формах землепользования в России. Наследственное владение землей называлось вотчинным. Было поместное землепользование: с условием исполнения государственной службы дворяне старой Руси получали поместья. Уклонившийся от службы дворянин, по образному и категорическому языку Московской Руси, «вышибался» из поместья. Заводовладение было подобно старой поместной форме. Юридически оно было условным: заводчик пользовался землей, лесом и прочими угодьями для выполнения казенных заказов. Однако уральское заводовладение быстро превратилось в наследственное и безусловное. На языке того времени оно стало вотчинным. Оставалась единственная угроза: «Буде в заводских дачах найдется золото, те дачи будут вновь отписаны в казну».

Значит, и во времена Петра уже ходили слухи о золотоносности уральских недр, и слухи эти принимались за достоверные. Золотоносные земли заранее объявлялись государственной «регалией», императорской собственностью. И это было справедливо.

Впервые слух об уральском золоте подтвердился за год до смерти Петра Первого. Государственный крестьянин Ерофей Марков в 1724 году искал на берегах речки Березовой, километрах в двадцати от нынешнего города Свердловска, горный хрусталь. Прекрасные светлые камни ценились высоко: шли они для женских украшений и для таких дорогих поделок, как люстры, подсвечники, рамы для зеркал. Из больших кристаллов вытачивали кубки, бокалы. Марков обратил внимание на куски кварца с особенными, не виданными им прежде крапинами и прожилью.

Нестеров не нашел никаких данных о личности Маркова. Но Марков, несомненно, знал минералогию и рудное дело куда шире, чем рядовые практики. Конечно, не зря вздумал Марков раздробить кварц, собрать крошки и попытаться их расплавить. Сермяжный геолог испытал металл и убедился, что нашел не медь, не гарь-обманку, а подлинное, благородное золото.

Были указы, обязывающие каждого находчика золота извещать казну. Марков не пытался использовать находку для себя лично. Выполняя гражданский долг, он сообщил начальству о своем открытии. Но посланная на место экспедиция Горной канцелярии вернулась ни с чем. Служащие канцелярии забили несколько глубоких шурфов, хотя березовское золото, как показывал Марков, следовало искать повер-ху.

А дальше... Нестеров думал о том, как бюрократы всех веков устраиваются так, что за их промахи и невежество отвечают другие. «Господа канцелярские» спихнули свою вину на Маркова. В «присутствии», как тогда именовалось заседание коллегии чиновников, находчику зачитали угрожающее постановление:

«А тому Ерофею Маркову в течение двух недель от этого дня подлинно объявить о тех местах. А буде он того не учинит, с ним будет поступлено другим образом, в силу других указов».

Те «другие указы» гласили об ответственности укрывателей золотоносных земель, о плетях, пытках, казнях... Словом, чорт попутал доброго мужика с проклятым металлом!

Однако из истории дальнейших находок золота Нестеров понял, что Марков отделался легко: его только попугали.

К счастью Маркова, он открыл золото на государственной, а не на заводской земле. Не нашлось заводчика, заинтересованного в сокрытии находки, и никто не позолотил руку чиновников, чтобы уничтожить беззащитного простолюдина, бескорыстно радевшего о государственных достатках. Чиновники уподобились собаке, которая лает, но не кусает. Когда на пятнадцатый день Марков явился и под страхом смертной казни подтвердил свое заявление о золоте, Горная канцелярия постановила:

«Отдать Маркова на поруки впредь до указа и притом объявить ему, чтобы он до совершенного оправдания подыс-

кивал бы руды».

Имена поручителей Маркова неизвестны. Почти четверть века, до старости, ходил на поруках бракованный мужик. Лишь в мае 1747 года Горная канцелярия убедилась в реальности березовского золота, и Марков, как записано в делах, был без всякой благодарности «отпущен на все четыре стороны».

Так совершилась первая в России находка промышленного золота. Первая известная! Таков был ленивый, медлительный приступ к разработке знаменитых в свое время Березовских золотых приисков.

2

Через сорок лет после малоудачной для невольного золотоискателя Маркова находки другой крестьянин, Алексей Федоров, набрел в лесу на обгоревший пень. В пне оказался золотой самородок весом в один фунт и двенадцать золотников. Около четырехсот шестидесяти граммов золота! Но откуда оно взялось в пне?! Сам Федоров должен был приписать дьявольским козням роковую находку. Лесная дача была приписана к Невьянскому заводу бога-владыки этих мест и других заводов Прокопию Демидову, сыну Акинфия Демидова.

Наследники замеченного и вознесенного Петром Первым тульского кузнеца владели на Урале миллионами десятин.

Широкие натуры развернулись!

В 1725 году на Невьянском заводе возвели башню-крепость, архитектурой подражавшую башням Московского кремля, но куда больших размеров. Там, вопреки закону, чеканили свою медную и серебряную монету, что было выгоднее сдачи металлов в казну, там был и притон для беглых, и тюрьма, и застенки, и кладбище для замученных.

По примеру знаменитых башен итальянских городов Пизы и Болоньи, Невьянская башня покосилась, не потеряв устойчивости. И народ сказал, что сам камень ужаснулся страшных дел заводчиков...

Жадный Прокопий Демидов, узнав о золотом самородке, испугался, что казна, в силу известной оговорки, наложит руку на дачу Невьянского завода. Федоров был схвачен, жестоко изуродован на допросах и приговорен заводчиком к вечному молчанию. Тюрьма без срока, до смерти.

Через пять лет, в 1769 году, Прокопий Демидов счел выгодным продать Невьянский завод другому кровопийце, богачейшему откупщику государственных податей Савве Яковлеву.

Нестеров живо представил себе, как, конечно, уже после свершения сделки Демидов рассказал новому заводовладельцу о находке Федорова. И судьба безвинного узника не изменилась. Он просидел при Яковлевых еще двадцать восемь лет, а всего тридцать три, как Илья Муромец, но не на печи, а на цепи!

В 1797 году какие-то добрые люди, оставшиеся неизвестными, сумели вручить императору Павлу Первому прошение Федорова. Павел вспыхнул. Узник был выпущен на волю по личному указу императора. А господа заводчики Яковлевы, надо думать, крепко испугались и ответственности за незаконное «дело Федорова» и за свою Невьянскую вотчину... Закон об исключительном праве государства на золотосные земли мог быть пущен в ход.

Но Павел в своей беспорядочной, судорожной борьбе с явными и мнимыми преступлениями не успел добраться до Урала. Странную и смутную память оставил о себе этот глубоко несчастный, истеричный и, быть может, наполовину безумный человек на троне. Слишком неумело и поспешно он силился укоротить полученное в наследство от «матушки Екатерины» буйное столичное барство. Он остался детски-беззащитным против гвардейского заговора и был удушен в собственной спальне.

3

Удачливо воспользовавшегося убийством отца, молодого красавца императора Александра Павловича увлекали, как известно, другие дела, и «дело Федорова» осталось без всяких последствий для заводчиков Яковлевых.

Известный поэт искренне и без всякой иронии провозглашал «дней Александровых прекрасное начало». И Нестерову

вспомнилась строчка из Байрона:

Когда ж в льстецах избытка не имели!..

Вопреки всем императорам и льстецам, менялись все же времена. В 1813 году, выражаясь выпрненным языком тех лет, русские войска освобождали Европу от ига Наполеона Бонапарта. В том же году крестьянская девочка Катя Богданова, которая, вероятно, имела самое смутное представление и о Европе и о закатывающейся звезде императора французов Наполеона, играла с другими ребятишками на берегу речки Мельковки. Речушка, как видно из ее имени, ничем не примечательная. Но протекала она по дачам Верх-Нейвинского завода, а Катю угораздило за игрой найти в песке тяжелый камешек – золотой самородок. О находке узнали. Управитель Полузаводов, не решась сгноить девчонку в заводской тюрьме, ограничился поркой: «чтоб впредь держала язык за зубами».

А золото было так нужно государству! Но почему же Нестеров должен был поверить, что лишь этими тремя находками, тремя трагическими случаями все и ограничивалось? Вздор! Всегда люди на Руси были пытливы и смелы. Золото находили часто. Но находчики уничтожались так поспешно, так скрытно, что никаких следов не оставалось ни от людей, ни от их дел. Несомненно и то, что в глубокой тайне, скрывая от казны, кто-то копал золото...

Первым годом правильной разработки уральского золота считают 1814-й. Было зарегистрировано шестнадцать пудов

шлиха. Так мало и так поздно!

4

И все же многострадальный Урал был богат не золотом. К началу первой мировой войны годовая добыча уральского золота достигла семисот пудов. Количество будто бы и немалое, но и тогда оно составляло лишь четверть всего российского золота. Главные богатства обнаружались в вечномерзлой почве и в ледяных ручьях Восточной Сибири.

Это уже новая история. Тот дальний край знавал ссыльно-каторжных, отбывавших сроки в шахтах и в рудниках, но не имел дела с крепостником-заводчиком.

«Худая слава бежит, а добрая – лежит», – вспоминалось Нестерову. Для каждого времени находились добрые, порядочные люди. Было бы величайшей несправедливостью счесть каждого деятеля прошлого хищником, видеть лишь теневые его стороны. Жизнь всегда владела не двумя, а многими красками, писала светотенями, а не одной жженой костью.

С помощью своего начальника Турканова Нестеров подходил к русской истории без предвзятости, без самонадеянного верхоглядства. Но он убеждался, что «вольная» добыча золота была в России исстари грязным, не приносящим счастья делом. Игра фортуны, откуда родилось уголовно-каторжное словечко: «фарт».

Со свойственным ему стремлением выяснять моральную сторону, Нестеров видел беду в мираже обогащения сверхмерного, неестественного против результатов всякого другого труда. Обогащались единицы из десятков тысяч. Десятки тысяч развращались, гибли. Дикая алчность. Бешеное золото. И только сейчас, в СССР, добыча золота по своей организации ничем не отличается от добычи других ископаемых.

О прежних золотых приисках ничего, совершенно ничего доброго не нашел Нестеров. Их близкая история навалила на него бесконечные, грандиозные по своему безобразию драки, поножовщину, пьянство, неопиcуемый разбой.

Содержатели притонов, носящие «золотое» восточносибирское имя – амбаропромышленники и жестокое название должника – задолженный. Жуткие клички золотоносных ручьев: Сумасшедший, Пьяный, Голодный, Имянет. Гостиница в Витиме с подземным трапом для спуска прямо в Лену трупов опоенных и ограбленных приискателей... Профессия «охотника за горбачами». У одного из таких «охотников» при обыске обнаружили сорок девять простреленных полушубков и армяков, снятых с горбачей – приискателей. Песня:

Мы по собственной охоте
Гнием в каторжной работе...
И Ленский расстрел.

Купец-золотопромышленник, делец более высокой склад-

ки, чем заводчик-феодал, явился на дальнюю окраину мастером скорого оборота. Он порой умел брать доход не столько от самого золота, сколько от монопольной торговли на арендованных в казне приисках. Вор, он обкрадывал нищую казну России. И свои и иностранные концессионеры не слишком считались с обязательством сдавать в казну все добытое золото. Лишь на Ленских приисках из намытых в 1916 году тысячи двухсот пудов золота было сдано государству менее тысячи пятидесяти. Две тысячи четыреста килограммов золота пошли «на сторону» – вернее, на все четыре стороны. Рядом, за открытой границей с Китаем, сидели международные скупщики краденого.

Нестеров отлично понимал, что эта цифра кражи золота была маленькой частностью: случайность, установленная экспертным порядком и относящаяся лишь к одной группе приисков.

Кто же мог подсчитать хищения на всех приисках старой России!

В кражах, в утайках, в обходах закона Нестеров опять находил те же признаки измены интересам народа.

Властвовала развращающе-всесильная взятка. И коль не помог «барашек в бумажке», так это значит лишь, что мало было «дадено». Не на приисках ли зарождалась слизисто-скользкая порода холодных, как жабы, циников, верующих лишь в бутылку водки и взятку?

Поражая москвичей своей эксцентричностью, некий золо-

топромышленник конца прошлого и начала нынешнего века прогуливался в Москве по Кузнецкому мосту, по Тверской, Столешникову и Камергерскому переулкам с ручной пантерой на толстой золотой цепи.

В обозах, которые к великому посту тянулись в Москву, удалые хлудовские или иные приказчики провожали меченых енисейских осетров. Не икра, а сибирское «земляное масло» – желтый металл – распирало громадных остроголовых рыбин. В них ехали дорогие подношения московским благодетелям, подарки родственникам, щедрые дарения на благолепие старообрядческих молелен, что гнездились при Рогожском кладбище близ Рогожской заставы, ныне заставы Ильича.

Нестеров помнил, как Ленин мечтал сделать из золота общественные отхожие места в самых больших городах мира. Ленин считал это справедливым назиданием для тех поколений, которые не забыли, как из-за золота в первой мировой войне перебили десять миллионов человек и сделали калекami тридцать миллионов.

Первая мировая война была для Нестерова историей. Он родился спустя несколько лет после ее окончания. А во второй принимал участие сам...

Для Нестерова золото при капитализме – символ насилия, обмана, войны. А при советском строе – ценнейшее государственное достояние.

Кончая работу в Ленинской библиотеке, молодой следо-

ватель счел себя подготовленным. Он надеялся, что теперь лучше поймет тех, кого встретит на путях следствия.

Глава десятая

1

Краденое советское золото переходило из рук в руки, обогащая перепродавцев, чтобы под конец где-то превратиться в золотые безделушки или неподвижно лечь в чьей-то кубышке, чтобы покоиться до часа кровавых потрясений, ожидаемых злобой и человеконенавистничеством.

Деньги не пахнут, лучшая гончая собьется с извилистого следа. Какая-то часть краденого золота доберется, быть может, и до подземных казематов далекого государства и мертво застынет там среди кубов желтого металла неподъемного, недоступного вору веса.

Странен этот покой золота. Не мирный сон руд, как бы ожидающих своего часа, – сон золота лишает покоя своего владельца и отравляет его жизнь.

Луганов с Маленьевым не были единственными поставщиками горного мастера Окунева. Он мог обойтись и без них, а поэтому Маленьев не прочь был попрекнуть Луганова за разрыв с Окуневым. Но подойди к ним Окунев и предложи старую цену, Григорий первым послал бы мастера-скупщика весьма далеко. Ничтожной казалась цена по шесть рублей пятьдесят копеек за грамм. Нет, не вить им вместе веревоч-

ку...

Размышляя о тайных делах, Маленьев ходил на работу с виду обычный, так же работал, так же пропускал стаканчик водки. С Окуновым обменивались кивками: не встречаться они не могли.

Катились деньки за деньками. Пристрастившись к легкой наживе, Маленьев вместе с Лугановым продолжали понемногу сосать золотой песок: слизывали от случая к случаю при промывке, пускали в ход фальшивый пломбир для подделки кружечной печати. Они втянулись, у них образовалась привычка; и на работе, помимо обычных забот, мысли обоих растрavлялись, как язвой, гадкой заботой: как сегодня «сделать»?

Страх, волнение, облегчение после удачи, и тут же новый страх: а как пройдет дальше, как удастся завтра? Хищение засасывало. Медлительно развивающаяся хроническая болезнь постепенно, незаметно для больного, уносит по каплям его силы; дурная привычка исподволь завоевывает сознание, которое изобретает хитрые компромиссы для самооправдания.

Приятели тонули не замечая. Они все дальше отходили от окружающих их людей, не слыша, как слабеют голоса товарищей.

Луганов, как и прежде, продолжал работать в месткоме, добросовестно выполнял задания, не думая о том, что он вор и ханжа. Жил он в общежитии, общее краденое золото

хранилось у Маленьева. Песок ссыпался в бутылку, которую Григорий прятал в тайничке на огороде.

Не слишком сложная, а все же хитрость. Докажи, что металл припрятал хозяин, а не какой-нибудь хитроумный сосед! Через немудрящую ограду, годную лишь против скотины, можно было пролезть со всех сторон.

Да, топали деньки за деньками. На маленьевском огороде копилось золото, вещь сама по себе бесполезная. Луганов надеялся на Маленьева, Маленьев – на Луганова, оба – на случай. Но сам собой случай им помогать не собирался.

Первым решился Григорий: действовать нужно, самим двигаться, а то под лежащий камень и вода не течет. Дойдя до такой мысли, укрепившись в ней и в нее поверя, Маленьев открылся Луганову. А Луганов сам до этого раньше додумался, но молчал. С мальчишеских лет он уступал Григорию первое место. Был Василий и похитрее и, пожалуй, посообразительнее, но характером слабоват. Уйдя вперед по общему развитию, он не прочь был спрятаться за спину Григория Маленьева не из-за боязни риска, а по характеру.

Луганов одобрил мысль друга и, как более грамотный, развил ее. Не на приисках и не в Сибири следует искать покупателя, а где-либо подальше, в России. Так по старой привычке и до сегодняшнего дня называют многие сибиряки Европейскую часть Союза.

Россия-то велика. Там были у Маленьева родственники по жене, в маленьком городе близ большого приволжского

города Котлова. Эти ни к чему. А у Луганова была младшая сестренка в самом Котлове. Жила там замужем за Буенковым, не то начальником, не то помощником начальника паровозного депо.

Конечно, Котлов – город как город. Но на приисках ходили слухи, что в Котлове есть особые людишки, любители золота. Откуда текли слухи? Интересно движение подобных шмыгающих сведений, случайных информации без начала и без конца, этих словесных амеб, которые, не имея ни хвоста, ни головы, живут, копят, множатся.

На приисках едва ли не каждому приходилось слышать о тайной скупке золота, о городах, где берут золотишко. Кто сказал? Откуда пошло? Разберись-ка!

Разбирались. Тянули за гнилые веревочки слухов, казалось – вот! Нет, либо лопнет, либо советется узлами, как моток пряжи, из которого ребятишки дуром тянули нитки. Такой клубок – страшное дело, но он в руках, осязаем, реален. При достаточном терпении можно развязать все узлы.

А слухи? Ведь это воздух, туман. Ничто. Дрянь. «Не поймешь что». Нет, не дрянь!

Если, не спотыкаясь об имена, не задаваясь невозможной целью выяснить, кто первый сказал да от кого пошло, то получится, без цепных реакций и прочих надуманных много-сложностей, следующий вывод, в частности, о городе Котлове и о слухах о нем, ходящих по приискам.

В Восточной Сибири живет немало граждан из Татарской

республики родом. Среди них встречаются последыши татарской буржуазии.

Тюркский национализм у нас начал заметно оживляться в конце прошлого века. Котлов получал ученых мулл из Бухары. Бухарские выходцы и котловские уроженцы, снабжаемые «духовным» образованием в высших училищах исламистского культа – в бухарских медресе, служили проводниками идей пантюркизма и религиозного панисламистского фанатизма.

Восточно-сибирские золотопромышленники, наряду со служителями господствующего культа, на отчисления с заработков рабочих-татар содержали и мулл – для «обслуживания» трудящихся магометанского культа...

Котловские купцы поддерживали оживленные торговые сношения с Бухарой, занимались и «тайным золотом». Вассал российской империи, вынужденный отказаться от внешних сношений и терпеть опеку русского резидента, усевшегося в недавно недоступной для немусульман священной Бухаре, эмир считался богатейшим государем в мире. Кроме явных вложений в российские банки, кроме засекреченных счетов в банках английских, – о тех и сведущие люди рассказывали легенды, – эмир копил золото в натуре. Часть слитков хранилась в казне эмирата, в тайниках бухарского дворца-крепости. Но золотых приисков в эмирате не было. И российское казначейство не отпускало золота эмиру.

Конечно, с той поры все изменилось. Но прислушиваться

к слухам все же следует. Если к ним относиться критически, то многое и многое подумается, многое объяснится для тех, кто обязан наблюдать за житейскими фактами, не теша себя убеждением, что у нас так уж все и совсем хорошо, что можно почтить мирным сном на достигнутом нами.

2

Луганов с трудом нашел полузабытый адрес: чуть ли не два года прошло с последнего обмена письмами работника Сендунского прииска с его котловской сестрой. Раскопав конверт с обратным адресом, Василий писал своей дорогой сестрице Матрене Елизаровне о житье-бытье, об общих знакомых по прииску, сообщал, что сам еще не женат за неимением подходящей девушки, поминал о напряженной работе, из-за которой он, дескать, в прошлом году даже отпуска не удосужился использовать, и боится, не сорвался бы отпуск и в этом году. Впрочем, надежды он не теряет, хотел бы повидать сестру и зятя. Заканчивая, Василий просил, за дальностью расстояния, по получению сего письма «надавить телеграмму», что, дескать, сестра больна. Такой ход облегчит ему получение отпуска.

При всей своей сбивчивости письмо подействовало без отказа: родная кровь не вода. И Василий Луганов стал готовиться в дальний путь.

Стараясь снабдить компаньона как следует, Григорий Ма-

леньев вербовал поставщиков металла, верша дела «под градусом». Так, у одного из киосков Маленьев прицелился к Статинову, работавшему, как и он сам, съемщиком-доводчиком. Григорий заказал водки, и они разговорились.

– Мне бы золотишка на зубы, – попросил Маленьев.

– Ты что, маленький? – посмеялся Статинов. – Работа у нас с тобой, друг Гриша, одна...

– Эх! – скривил рот Маленьев. – У меня мастер – собака, а контролер – еще хуже. Грамма не достанешь!

– Надо мной тоже не дяди родные, – возразил Статинов.

– Тьфу, чорт бы их давил! – продолжал жаловаться Маленьев. – Скажи, не поверят! Работаем на приисках, а золото для зубов в ювелирторге приходится покупать, брат ты мой, голова!

Выпили еще по сто граммов.

– Ну ее, водку, к лешему за семь болот да за семь омутов, – сказал Маленьев. – Пошли отсюда, у меня спиртик есть.

– Да ну? – оживился Статинов. – А куда потопаем?

– Пошли, тебе говорят, угощаю.

По пути Маленьев купил буханочку черного хлеба, пакет соли, банку маринованных огурцов и литровую бутылку боржома. Выбравшись за поселок, они устроились в пихтаче уютнее, чем в ресторане. Пили в очередь: глоток спирта, глоток боржома. Хлеб ломали, жесткую от волглой соли бумагу пакета Маленьев вскрыл ногтями, банку с огурцами кокнул о камень. Приволье! На секунду глотку спирало от спирта,

боржом проталкивался комом. В животах горячело, жарко катилось по жилам, прибавляя силушки. Разгорались крепкие головы.

Поймав муравья, Статинов зажал насекомое, забавляясь бессилием челюстей, не справляющихся с грубой кожей пальцев, и казнил пленника. Болтали о всякой всячине, а среди пустых слов Маленьев, как свинчатку в бабках, пустил настоящее:

– Александр Окунев – любитель дешевки!

Заметив, как у Статинова что-то изменилось в лице, Маленьев, будто с треском ставя кость на кон, выпалил:

– По шесть с полтинником дает, стервец! – И, увидя, что попал в яблочко, что игра его, поднажал: – Брось, Мишка, эту жилу! Брось! Трепался я насчет зубов. Что, у нас с тобой своего нет, чтобы у друзей канючить этой дряни!

Так был завербован Михаил Статинов со всем «его» золотом. Так вершились дела начавшегося общества на паях под фирмой «Маленьев и Луганов» – с водкой, со спиртом, «под градусами». Кроме Статинова, Маленьев завербовал Ивана Гухняка, сговорился со своими товарищами по ружейной охоте: Силой Сливиным и Алексеем Бугровым.

Луганов сумел «вывернуть» часть запаса у одного бывшего старателя, но старый дядя Костя подорожился: потребовал по десяти рублей за грамм. На нем и пришлось поставить точку. Компаньоны, кое-что продав, кое-что заложив, израсходовали весь оборотный капитал.

Для Василия свет-Елизаровича Луганова оставили лишь на дорогу до Котлова.

3

И летел, чортом летел Василий свет-Елизарович. На самолете вначале, потом поездом.

Насупленный, собранный весь в кулак, сам кулак и слова лишнего не проронит, Луганов отстукал метенные злющими ветрами читинские степи, вонзался в кругобайкальские тоннели, с грохотом выскакивал на прибрежные кручи, – как только поезд держался на поворотах!

Любовался Василий бездонными широтами Байкала и сквозь зубы мычал:

Эй, баргузин, па-шевеливай ва-ал, Плыть...

Но плыть этому молодцу было куда как далеко...

Проскочил Иркутск, мчался тайгой. Махнул через Енисей. Ему нипочем, – махнет через Обь и Иртыш.

Енисей, Обь, Иртыш. Слова-то какие!.. Сколько воспоминаний, сколько значения в их звуках!.. А Луганов отмечал крупные станции стаканом водки, чтобы меньше скучать. Пил отнюдь не допьяна. Нельзя: на теле пояс парусиновый, самодельный, с карманчиками-мешочками...

Такой поясok фигуры не портит. В литровую бутылку можно насыпать до семнадцати килограммов золотого песка, в «чекушку» – четыре. Золотой песок тяжел и для пере-

возки удобнее пухлых пачек сторублевых билетов.

Поддерживая в себе приятное сорокаградусное тепло, Василий вскоре после станции Тайга, откуда магистраль дает северный отросток на Томск, начал прощаться с тайгой, из окна вагона плюнул в Обь и выкатился на зеленые, гладкие просторы степей иных, чем забайкальские. Он стучал и стучал по просторам плодороднейших в мире, несравненных черноземов, вполне безразличный к начавшимся трудам по включению этих черноземов в новое изобилие. Его, лугановское, единоличное обилие находилось с ним, в парусиновом поясе, а его путь лежал на Котлов, к месту людному, обжитому.

Скучая, Василий переводил часы назад: иначе собьешься, когда день, когда ночь. В одно утро – не сообразишь в длинной дороге, не то в шестое, не то в седьмое, – Луганов оказался опять в тайге, но в иной – в уральской. Вечером проплыли в сутолоке путей, паровозов, вагонов, заводов и заводских труб Свердловск и западные от него горнозаводские станции. И вновь тоннели с запахом дыма, с умолкающей под толщей гор музыкой и речами поездной радиостанции.

Чуя конец путешествия, Луганов как-то нечаянно, неожиданно, ощутил вдруг робость и сомнение: а ну, как не выйдет? А ну, как вместо легких тысяч – решетка, не орел? И он проклял. Не себя, Гришку Маленьева...

А когда поезд проходил среди круч, сверху донизу разделанных трудолюбивыми котловцами под огороды, немисли-

мые для людей меньшей предприимчивости, Луганов и совсем сник.

Пожалел Василий свет-Елизарович, что взял на себя дело большого риска, что сунулся в воду, не спросив броду. Гришке бы ехать с письмом к Матрене, а ему сидеть бы на прииске да «доить» по малости металл, к чему он привык уже.

Котлов! Котлов! А деваться-то некуда, на обратный путь не оставили денег смелые люди. И сотни рублей не найдешь в карманах. И вышел он из вагона не с дрожью, не с волнением или тоской, а с какой-то паршиво-трусливой, потной вялостью во всем теле. Парусиновый пояс с золотой начинкой кармашков показался очень тяжелым: камень на шее.

Глава одиннадцатая

1

Зиморов. Под семьдесят, а не скажешь. Борода, раздвоенная, во всю грудь, с проседью под кавказское серебро, и черни больше, чем серебра. Волосы на голове густы и тоже еще не белы. Телом он весьма плотен, но нет ни старческой вялости, ни старческого брюзглого жирка. Ходит, держась прямо, ноги ставит твердо, не разворачивая носка. Так в нем все бодро и ладно, что не бросается в глаза малый, не по важности, рост.

Звать Петром Алексеевичем. Сам он, серьезно и к случаю, про свое имя-отчество говаривал с заметной гордостью:

– Как у первого императора всяя Руси!

Выговаривал «анпиратора».

Хотя кому-кому, а гражданину Петру Алексеевичу Зиморову, казалось, не следовало бы поминать добрым словом «анпиратора» Петра Первого. Тезка императора жил «по старой вере» от рождения и до сего дня, а в бозе почивший император Петр Алексеевич крутенек был, весьма крутенек к расколу старообрядчества. И хотя при нем была разрешена раскольникам за особую плату борода, но уклоняющихся от военной повинности и от прочих государственных

обязанностей, всяких таких «нетчиков» петровские солдаты сыскивали в раскольничьих скитах успешно, а те скиты безо всякой пощады разоряли «бесчинно». И преемники первого императора не слишком-то жаловали старообрядцев. Но, как видно, Зиморов был совсем не злопамятен: добрая душа, не помнящая обиды «от ближних твоя».

Раскольники пребывали и в лесистых местностях нынешней Татарской республики. В одном из таких мест, со смешанным многонациональным населением, носящем татарско-мордовское, а быть может и мещеряжское или даже бессерменское название, и начал свое бытие Петр Алексеевич Зиморов. Там же он в семнадцатом году вступил в новую эпоху, сохранив от старой, как и другие его односельчане, душевой надел на себя и на сыновей в виде пахотной земли и прочих скромных крестьянских угодий. Но, кроме надела и доли в общих лугах и лесе, Петр Алексеевич захватил в новую жизнь мельничку с паровым движком, двухкотловую маслобойку и сельского масштаба лавочку с широким ассортиментом товаров – от дегтя с керосином до мануфактуры с галантереей.

В двадцать первом году, спасаясь от комбедов, как тогда назывались революционные организации трудящихся крестьян, очищавших села от мироедов, Зиморов «нырнул». Задержав дыхание, он всплыл лишь через тринадцать лет в Котлове. Оказался он в мастерах на одной из городских мельниц. Детей не бросил. С ним в Котлов, согласно лист-

ку милицейской прописки, прибыли: сын Андрей, рождения тысяча девятисотого года, сын Николай – девятьсот четвертого, сын Алексей – девятьсот одиннадцатого и дочь Дарья – девятьсот двадцать первого. По воспоминаниям изредка встречавшихся Зиморову бывших односельчан, у Петра Алексеевича прежде имелись и другие дети. Где они, никто не знал и не интересовался.

Здесь преследуется единственная цель – познакомиться с Зиморовым перед его неизбежной встречей с Лугановым, который сейчас в самом мрачном расположении духа разыскивает свою сестру Матрену Буенкову. Времени мало. Из многих-многих фактов, известных о бытии Зиморова, производится поспешный отбор.

Итак, его старший сын Андрей почти тут же по приезде в Котлов был арестован за попытку совершить кражу на складе мануфактурного магазина, осужден и выслан в Восточную Сибирь. Там, по отбытии двухгодичного срока наказания, Андрей остался навсегда по его собственному желанию. Он нашел для себя удобным работать на золотых приисках. Как выяснилось позже, его связь с отцом ограничилась несчастными заездами в Котлов случайных гостей с целями, о которых будет сказано в своем месте.

Младший сын, Алексей, тут же по приезде пошел на одну из строек второй пятилетки, испробовал, как бывало в те годы, когда заводы и стройки сами готовили себе кадры, несколько профессий: был арматурщиком, бетонщиком,

плотником, штукатуром и остановился на столярном деле. Из него выработался отличный мастер-краснодеревщик. Обзаведясь семьей, Алексей связь с отцом потерял почти совершенно по причине «жесточкого характера нашего отца», как говорила дочь Зиморова Дарья Петровна. И она, выйдя замуж, от отца отдалилась по той же причине.

Жить с отцом остался один Николай. Ему, как и отцу, пригодились старые навыки. В начале своей котловской жизни он работал мастером на мукомольной мельнице, но, как отзывался отец, «повел себя глупо и неумело» и в конце тридцать пятого года был осужден на пять лет за подделку гарнцевых квитанций и за неправильный отпуск муки. Вернулся он домой в сороковом году, а в сорок первом был призван в армию. В сорок третьем был ранен и, по излечении, оставлен в нестроевых. В сорок пятом демобилизовался.

Сын прибыл как раз к семейному торжеству: Петр Алексеевич Зиморов изволил вступать в третий законный брак, чем превзошел своего державного тезку. Тот, как известно, лишь дважды налагал на себя брачный венец.

Еще до войны Петр Алексеевич, оставив службу по возрасту (не по здоровью), нашел себе более прибыльное занятие, требующее особых пояснений. К концу XIX века старообрядцы испытывали от империи и от главенствующей церкви малозаметные стеснения. После декрета Совнаркома об отделении церкви от государства стало совсем безразлично, «како веруеши» и веруешь ли вообще. Но и до наших дней,

как это ни покажется удивительным неосведомленным людям, сохранились некие тонкости. Так, восковая свеча, без возжигания которой, как думают некоторые, молитва не так хорошо доходит до бога, верующему старообрядцу подходит лишь изготовленная руками старообрядца же. Изготовленная иначе никуда не годится, невзирая на качество воска и выделки.

Зиморов, занимаясь некоторыми спекулятивными делами, промышлял и фабрикацией свечей, покупая краденый воск, парафин для пропитки фитилей и пряжу для витья таковых. Начал катать свечи с помощью Николая, а после призыва сына в армию обучил ремеслу сноху.

Связи для сбыта старообрядческих ритуальных свечей имелись. Промысел шел успешно. В сорок четвертом году Зиморов купил в Котлове двухэтажный деревянный дом, в котором ранее арендовал квартиру. Дело так разрослось, что Зиморов для безопасности счел необходимым выбрать патент и до сорок седьмого года вносил налогов сорок тысяч рублей в год. Затем, не имея больше необходимости в широком производстве свечей, заявил о прекращении промысла и торговли.

2

Супруги Буенковы встретили Луганова с распростертыми объятиями и в прямом и в переносном смысле слова.

– А мы-то сегодня не ждали! – восклицали наперебой Алексей Федорович Буенков и Матрена Елизаровна. – И не приготовились! Пирог хотела испечь! Что же не дал телеграммку с дороги, Вася, мил-друг?

Буенков опомнился первым и пустился организовывать:

– Да что же ты, Манюшка? Слезами горю не поможешь. Мотай скорыми ногами за угол. Там главного захвати и еще что под руку попадет на закусончик: ветчинки, колбаски, селедочку, рыбки, икорки, – сама знаешь, – да нет ли студня? Студень – милое дело! И огурчиков, капустки, если схватишь. Да живо же, Мань-Манюша, красота ты моя разлюбезная!

Буенков повел дорогого гостя по коридору коммунальной квартиры на кухню умыться, по пути поясняя:

– Здесь одни наши живут, свои, железнодорожники.

Сбегал в комнату, принес чистое полотенце. Был Буенков, несмотря на округлую фигурку, быстр, проворен. Привел зятя обратно, усадил за еще пустой стол, а сам живчиком катался по комнате, в приятном нетерпении потирая руки и занимая себя и шурина пустыми разговорами о здоровье, о дороге и прочих незначущих, но обязательных для любезности вещах.

Матрена Елизаровна, которую для большего изящества муж назвал Марией, вернулась запыхавшись. Пока она собирала на стол, нетерпеливый Буенков налил три граненые стопки.

– Ну, начнем белым, – пригласил он. – С приездом тебя, Вася! – И высосал свою порцию с наслаждением. – Вот так! Теперь можно потерпеть... – И, откинувшись, привычно потирая ладони, продолжал: – Одно плохо, брат Вася: жирею. Ничего не попишешь, командовать в депо штука хлопотливая, а все не как на паровозе. Ну, я-таки поездил. Оклад, конечно, у меня подходящий. Хотя и в машинистах я свое имел... Помнишь, Манюша?

Буенков раскрывался перед родней, как цветок.

– Живем мы здесь, Вася, не жалуемся. Манюша, правда, будто скучает иной раз, а я так считаю: меньше хлопот. Нет детей – и ладно. Правда, оно вроде и приятно бы, но как подумаешь: тyani их лет двадцать, а что получится – бабушка надвое сказала. Работал много я, всегда работал. И теперь работаю немало. Чего мне не хватает?

Что в этой самохвальной брехне Василию Луганову? Ничего. Но он согревался в радушной обстановке, отходил от обуявшего его под Котловом страха и думал о Буенкове: «Парень свой, теплый. С ним можно...»

– Есть у меня дельце по нашему, приисковому делу, – начал он, подсев поближе к зятю. – Ты мне, Алеша, присоветуй.

– Слушаю, – насторожился Буенков и вильнул глазами на дверь: так выразительно прозвучали простые слова Луганова.

– Манюшенька, – сказал он жене, – подкрути-ка, милуша,

радиошку чуть погромче.

С первых же слов Луганова муж подозвал жену:

– Какие между нами секреты!

Выслушав дорогого гостя, супруги посерьезнели, как бывает, когда запахнет большими деньгами. Буенковы, к радости Луганова, подтвердили ходившие по Сендуну слухи: есть в Котлове «такие люди». Буенков кое-кого помянул предположительно из часовщиков. Но ходов к ним не назвал. Любитель похвастать, показать свой ум и осведомленность, Буенков тратил лишние слова и время, и жена прервала его, назвав Зиморова.

– Вот, вот, – согласился Буенков с некоторым недовольством по поводу того, что его опередили. – Я сам хотел о нем сказать.

Буенков объяснил, что они с Зиморовым родственники не родственники, а, так сказать, свояки, – нашему забору двоюродный плетень. Акулина Гурьевна, третья жена старика Зиморова, приходится теткой первой жене Буенкова, умершей перед войной.

– Старик жох, – рассказывал Буенков, перехватив инициативу у жены. – От Акулины все держит под замком, и она у него по струнке ходит. Он золотом занимается. У меня самого взял две царские пятерки и дал по две сотни. Ты, Вася, начни через нее действовать. – И Буенков нежно погладил жену по голове.

– А он может, Вася, это факт. Для него твое сибирское зо-

лото не внове будет. Николай болтнул, что у старика от ихнего старшего брата Андрея с записочками бывали уже люди с приисков.

– Ты, Вася, сестре кланяйся, – заключил Буенков. – Оно, знаешь, умная женщина, везде пройдет! У них, у женщин, незаметнее получается. Мое дело – сторона, я тебе направление дал. Давай допивать – и на боковую. Мне завтра к восьми на работу, а Манюша для тебя не откажет слетать к Зиморовым, нюхнуть, поговорить. Она у меня умница, ее старик уважает.

3

Луганову отперла Акулина Гурьевна и провела его на второй этаж обшитого тесом небольшого рубленого дома. Толкнув дверь и не входя сама, жена Зиморова сказала-выдохнула:

– К вам, Петр Алексеевич, тута пришли.

Комната была большая, низкая, в три низких же окна. Обстановка сборная: платяной шкаф старой дешевой работы с глубокими бороздами царапин на мягком, по клею, лаке, покрывавшем отделанную «под красное дерево» мягкую липу, черную там, где касались руки; светлый высокий комод с зеркалом на верхней доске, покрытой тюлевой накидкой; разномастные, разношерстные стулья; два сундука, окованные погнутой, отставшей резной жостью.

На дощатом крашеном полу протоптались дорожки, на стенах по грязноватым светлым обоям приколоты выцветшие – надо думать, семейные – фотографии и, для красоты, «картинки»: пейзажи и жанровые сценки из «Огонька», отрывной календарь с портретом Льва Толстого и, конечно, не без мысли пристроенные портреты Сталина и Буденного.

...В середине комнаты – большой, хороший дубовый стол на массивных точеных ножках; в дальнем от входа углу, по глухой стене высилась катафалком широкая никелированная кровать со взбитыми перинами и с пирамидой, мал-мала меньше, подушек. Над ними – угловая божница с темными, не разберешь ликов, образами и с горящей лампадой. И запах воска, стоялый, густой, который сразу при входе в дом охватил Луганова.

Помня совет сестры, Василий перекрестился на образа, что сделал довольно неуклюже по совершенному отсутствию привычки.

Матрена Елизаровна настойчиво поучала брата:

– Старик жмот, сквалыга, но человек религиозный. Ты не забудь снять шапку и перекреститься. Петр Алексеевич того от всех требует. Ведь у тебя, Васек, дела!..

Зимороева отделил от посетителя стол. На поклон Луганова старик, чуть привстав, ответил кивком головы, но навстречу не сдвинулся, а просто пригласил:

– Присесть не угодно ли? Стульчик возьмите, м... Елизарович, знаем, но имечко мы запомнили.

– Василий, – подсказал Луганов.

Старик оказался таким, как его описывала сестра Луганова: бородачи, плотная фигура под надетым на черную сатиновую косоворотку порыжелым пиджаком, над бородой задранный толстый нос, не дряблый, а твердый, глаза выпуклые, взгляд пристальный и, как показалось Луганову, нагловатый.

Сидя, Зиморов казался немалого роста: он был коротконог.

– Так, значит, вы приходите братцем родным Матроне Елизаровне? – начал беседу Зиморов хрипловатым, уверенным басом.

– Да.

– Люди с положением ваш зять с супругой, – одобрил Букенковых Зиморов. – А родитель и родительница ваша, слыхано было, скончались?

– Да.

– Однако же мы видим, что до оставления в сиротстве они вам с сестрой преподали моральные наставления, уважение к божественному. На этот счет у нас имеется старая побасенка...

Зиморов говорил с удовольствием человека, нашедшего случай кстати преподнести свежему человеку любимый, но до одури всем приевшийся анекдот.

– В прежнее время, даже еще до проведения железных дорог, – рассказывал Зиморов, – по каким-то по своим делам

ехал на почтовых лошадях еврейский раввин. И вот выезжает этот раввин вечером со станции, едет уездным городишком, вроде какого-нибудь Зеленодольска или Арска; на козлах у него, стало быть, новый ямщик. Раввин за ним в спину примечает: одну церковь проехали – не крестится, другую – обратно не крестится. На выезде, как полагалось, часовня. И тут мужик на себя креста не кладет. Что ты будешь делать! Раввин ему и говорит: «Иван, а Иван, почему ты не крестишься?» А тот, ямщик то-есть: «Чего же креститься!» А раввин: «Иль ты, Иван, в бога не веруешь?» А тот, дурак: «А на что верить-то?» Тут раввин его сзади кэ-эк за пояс схватит! – Зиморов даже привстал, чтобы изобразить, что произошло. – Кэ-эк схватит да закричит: «Нет, поворачивай! Я с тобой, на ночь глядя, не поеду: ты меня зарежешь!»

Зиморов сел и продолжал уже обычным голосом:

– Вот, как вы находите, Василий Елизарович? Ведь прав еврей! Они, евреи, умные люди!..

Луганов согласился.

– Конечно, – продолжал разглагольствовать Зиморов, расправляя усы над свежими, красными губами, – в прежнее время разные веры чуждались одна другой. К примеру, не говоря о евреях или мугаметанах, которых, по-нашему, и за людей не считали, мы, старой веры люди, крестясь двумя перстами, брезгали православными – никонианами, звали их «щепотниками». А сейчас мы считаем, лишь бы в человеке вера была, а не безбожие... Как вы считаете?

У Луганова от скуки и от сдерживаемой нервной зевоты ломило челюсти.

– У меня к вам, Петр Алексеевич, дело есть.

– Слушаем вас.

– Металл желаю продать.

– Мы такого товара просили.

... Зиморов, отобрав образец, куда-то ушел. Луганов ждал его, находясь под наблюдением Акулины Гурьевны, которая угостила Василия Елизаровича чаем с сушками. Женщина крупная, на полголовы выше мужа, полная, повязанная ситцевым платком по-русски, она, не поднимая глаз, потчевала Луганова. Как видно, она была привычно молчалива. Впрочем, Луганов и не пускался в разговоры. Успев до одури наглядеться на картинки на стенах и пересчитать все пятна на обоях, он хотел закурить. Но Акулина Гурьевна умоляющим шопотом сообщила:

– Петр Алексеевич не допускает у них в доме...

Наконец Зиморов вернулся. Товар хорош. Договорились о цене. По подсказке сестры, Луганов запросил высоко, но Зиморов не стал торговаться. Предложил по двадцать четыре рубля, а не угодно, так вот бог, а вот порог! Луганов сумел показать разочарование, на самом же деле был в восторге и с деланным сожалением согласился:

– По рукам.

– За деньгами милости просим завтра.

Золото Зиморов оставил у себя.

– Товар нами куплен, в таких вещах обманов не бывает.

Обмана и не случилось: на следующий день Зиморов выложил почти сто тысяч рублей, как одну копейку.

В радости Луганов послал Маленьеву телеграмму, изложенную нехитрым кодом. В тексте поминалась цифра двадцать четыре, остальное Гриша поймет. Так «общество на паях» оправдало себя с первых же шагов, и Луганов забыл, как он, подъезжая к Котлову, клял на чем свет стоит своего друга-приятеля. Зиморов продавца напутствовал:

– Мы этого товара можем брать сколько хочешь.

Приючая родного человечка, Буенковы не остались в накладе. Буенков проводил зятя не самолично, а с помощью записки на имя главного кассира: насчет билета на хорошее место. Записку Буенков начертал на бланке начальника дороги. В его папке таких чистых бумажек была не одна. Подписался он неразборчивым «за», пояснив:

– Это пустое дело. Они там смотрят на бланк, а не на подпись. А выдав билет, кассир бумажку бросит. Знаю я их...

Часть вторая

Тихие омуты

Глава первая

1

Чтобы лучше определить, какие новые лица встретятся нам в старинном волжском городе Котлове, надо, оставаясь в том же Котлове, вернуться больше чем на десять лет назад.

В тот день, который нам нужен, с Заволжья дул ледяной ветер. Он дул уже несколько дней не стихая. Несясь из степей, злобная поземка копила сугробы в затишных местах речных берегов, рассыпалась тонким пеплом над городом, и куда бы ни шли и куда бы ни ехали люди, им все время казалось, что выюга бьет только в лицо, только в лицо.

Очень холодно, мучительно-тревожно на душе. Второе декабря 1941 года...

В комнате, обставленной преднамеренно-безлично, – два человека. Один сидел за письменным столом, другой – перед столом, в профиль, лицом к окну. Окно затянуто светомаскировочной шторой. Синяя бумага скрывает частую решет-

ку.

– Скажите, Флямголец, кого вы еще вербовали для германской разведки?

– Больше я никого не вербовал, – не торопясь, ответил Флямголец. Он сидел, положив руки на колени. На лице безразличие. Он уже прошел те испытания следствия, когда преступник еще надеется, борется. Теперь он был изобличен, и ему больше не от чего было отказываться и нечего толковать в свою пользу. Он знал, что его ждет. Ныне следствие подбирало «хвосты». И он разговаривал, быть может, лишь потому, что пока с ним говорили, ему казалось: для него еще движется время, которое вскоре остановится навсегда.

– Больше никого...

– Однако в своих предыдущих показаниях вы упоминали, что Бродкин, Брелихман, Абдулин, Сулейко, Гаминский, Ганутдинов, Клоткин и Ступин были людьми, которых вы намечали завербовать для германской разведки, но не успели. Верно ли это? – спросил следователь.

– Да. Совершенно верно. Предполагал, но не завербовал.

– А откуда эти люди вам известны? И почему вы наметили именно их для вербовки?

– Я их знаю давно. – Флямголец говорил без выражения, без интонаций. Таким голосом иные диктуют текст скучного делового письма. – Они не только настроены против советской власти, они валютчики. Они скупают золото, бриллианты и всякую контрабанду.

Следователь спросил:

– Откуда контрабанда?

– Контрабанда? От кажаров, фамилии которых остались мне неизвестными.

– Уточните, что значит кажар?

– В Баку так иногда называют персов, иранцев.

– Хорошо. Итак, вы хотите сказать, что намеченные вами для вербовки люди – жулики, проходимцы, морально и общественно разложившиеся субъекты? Так вас можно понять?

– По-вашему это так.

– А по-вашему?

Флямголец не ответил, будто не слышал вопроса.

– Хорошо, – согласился следователь, – можете не отвечать. Теперь, Флямголец, расскажите о каждом из них.

Тусклый голос принялся низать слово за словом:

– Бродкин Владимир. Ему лет за тридцать. Работает в артели «Точмех», около универмага на улице Баумана. Сам живет на улице Островского. Я знаю его с тридцать девятого года. Он занимается скупкой золота и драгоценностей. Лично при мне он брал у разных лиц, особенно у прибывших тогда с Западной Украины, золотые часы, золотые вещи, бриллианты, носильное платье. Сулейко и Клоткин говорили мне о нем то же самое. Бродкин настроен антисоветски. Он накопил большие средства.

– Дальше.

– По валюте и золоту Бродкин поддерживал связь с каким-то стариком по имени Фроим, который живет, кажется, где-то около главного базара. В прошлом этот старик был очень богатым человеком. Сейчас занимается золотом, бриллиантами и валютой.

– Дальше.

– Абдулин Измаил. У него парикмахерская на Кооперативной улице. Я знаю его как скупщика и продавца валюты, золотых вещей и контрабанды. Я сам торговал у него в марте сорокового года валюту и взял сорок пять американских долларов. Еще он предлагал мне купить заграничные отрезы на пальто и костюмы. В свою очередь, я предложил ему австрийские золотые шиллинги, но мы не сошлись, помнится, в цене. В разговоре со мной он так часто и так много проклинал советскую власть, что я, право же, не могу всего припомнить.

– Продолжайте.

– Сулейко Тарас. Он тоже живет где-то на улице Островского. Ему лет под сорок. Говорят, когда-то его судили за валюту. Он энергичный маклер по валюте, золоту, камням. У него обширные связи. Мне известно: у него была большая партия американских долларов. Я хотел взять ее, но мы не сторговались.

– Когда это было?

– Это? Позвольте... В конце тридцать девятого года. У Сулейко есть связь с каким-то кажаром-контрабандистом. Я не

видел этого кажара. Он снабжал Сулейко дамскими часами. Сулейко не скрывал от меня своих антисоветских взглядов.

– Дальше!

Золото... Агенты золота – англичане, американцы, немцы, французы, евреи, русские, украинцы, татары – не были представителями национальностей. Люди без нации, они одинаково опасны каждому народу и всему человечеству.

Следователь был свободен от предрассудков. Как у каждого советского человека, у него выбор друзей не зависел от национальности. С каждым он разделит и последний кусок хлеба и последнюю пулю.

2

...Следователь спросил:

– Итак, вы считали, точнее: вы были уверены, что все перечисленные вами лица согласились бы работать на нацистскую разведку, сделайте им прямое предложение?

Флямголец взглянул на следователя. Из его взгляда следователь понял, что шпион усмотрел в вопросе особый смысл.

Так или иначе, но, по мнению Флямгольца, этот вопрос был так же бесполезен, как требование моральной характеристики людей, намеченных им для вербовки. На мертвом лице агента гестапо появилось выражение вроде брюзгливого недоумения. Он ответил вопросом на вопрос:

– Почему бы им не согласиться?

Из лежавшей на столе коробки Флямгольц, не спрашивая разрешения, взял папиросу и курил, следя за рукой следователя, составлявшего протокол. Вопросы и ответы, выраженные казенно-официальным языком, очищенные от шелухи лишних слов, сухие, точные, не допускающие двойного толкования...

– Да, Флямгольц, вы не назвали фамилию приятеля Бродкина, старика по имени Фроим?

– Старый папа Фроим? Фамилия? Минуту, быть может, я вспомню... Брелихман, который его хорошо знает, говорил, что Фроим очень почтенный, богомольный человек. Кажется, одно время он даже был попечителем местной синагоги. Позвольте... Да, да, Трузенгельд. Фроим Трузенгельд.

Глава вторая

1

У Петра Алексеевича не одна борода, есть и лицо. Сбрить бороду – и Зимороев вполне пригодится для натуры художнику, замыслившему создать нечто на историческую тему и ищущему типаж для картины из уральской старины. Натянуть на зимороевскую голову пудренный екатерининский парик с кудрями до плеч, облачить сильный торс в красный камзол с золотым шитьем, бросить орденскую ленту через плечо, приколоть звезду – и получится не кто попало, а именно Прокопий Демидов или знаменитый откупщик Яковлев. Надеть крахмальное белье, сюртук, цилиндр, в лице дать отенок «цивилизации» – Рябушинский, Второв, Хлудов конца XIX – начала XX века. Дело, конечно, не в точности портретов, а в выражении – семья одна.

Можно было бы, меняя освещение, тон, аксессуары, использовать типичные черты лица Зимороева и для иного – германского, британского или американского – деятеля в области банковской, торговой, промышленной. Словом, в облике Зимороева национального, причем, в сущности, декоративно-национального, было одно – борода.

В первом этаже собственного зимороевского дома прожи-

вал сын хозяина Николай, мужчина лет под пятьдесят, бритый, тощий, с запавшей грудью, но крепкого здоровья. Чертами лица, глазами навывкате, цветом волос Николай был похож на отца, но в ослабленном виде. Николай, будто посторонний постоялец, платил отцу за квартиру, однако во всех делах служил помощником: от него отец ни в чем не таился, но держал сына в руках. Отец оплачивал сыну услуги и помощь, как наемнику. Работая после войны агентом в системе «Заготживсырьё», в делах отца Николай имел не пай, а приработок. Приходилось ему терпеть неумолчные окрики, тычки и поучения горше всяких тычков. Он все сносил с непобедимым терпением наследника, у которого ничем не отнимешь ценнейшего преимущества: быть на двадцать с лишним лет моложе отца-наследодателя. При всей исполинской крепости не вечен же старик Зиморов! Николай казался типом, давно затасканным, но живым для отношений, где все решают деньги, типом сына, покорного из соображений выгоды.

Алексей Зиморов, младший сын, получивший имя по деду как бы для «продолжения рода», – отрезанный от семьи ломоть. Он работал на одном предприятии военного назначения. Столяр высокого разряда, он был забронирован за производством, в армии не служил и все же воевал, посильно участвуя в создании той техники, которая способствовала победе. Он имел от завода квартиру: комната, кухня, чуланчик, коридорчик, передняя, – не слишком-то удобную, тес-

ную для разрастающейся семьи, зато жил «у себя». Обставлено жилье было немудрящей мебелью собственной работы. Почему для личных нужд русские мастера, да и не одни русские, работают кое-как, пусть сами объяснят.

«Лицо» у Алексея было совсем иным, чем у отца. Кадровый рабочий-специалист, человек в коллективе уважаемый, Алексей Зиморовев мог бы вступить и в партию, но воздерживался по причине малой как будто, но весьма серьезной. Когда-то в своей первой анкете он, по указке отца, написал: сын крестьянина-бедняка. Так и шло из анкеты в анкету. Его дети были детьми рабочего, а он чей сын? Ну, ладно, когда-то солгал. За это не судят. Вновь лгать, вступая в партию, Алексей опасался. Признаваться же было неловко.

Были годы, когда Алексей навещал отца, особенно в праздники, которые Петром Алексеевичем строго соблюдались по старообрядческому календарю. Позднее взбунтовались подросшие дети Алексея: у бабушки пахло старым режимом. Дети этого режима никогда не нюхали, – следовательно, заслуга такого определения принадлежала не им, а среде.

Посещения свелись к двум-трем в год и вскоре совсем прекратились. Семья Алексея жила по-своему. От зиморовевского корня деревцо отросло в сторону, и яблоки от него упали на расстояние, равное по величине исторической эпохе.

Алексей не вспоминал об отце, а отец помнил сына. В со-

рок первом году Котлов, доотказа забитый эвакуированными, замирая, живя одним общим дыханием в часы передачи сводок Совинформбюро, отнюдь не обходился без панических слухов, один из источников которых, кстати сказать, «усматривается из первой главы этой части»...

Петр Алексеевич Зиморовец злорадствовал:

– Висеть на осине с другими и Алешке-стервецу!

Что ж, старопечатная библия, которую для души почитывал Петр Алексеевич, давала примеры богоугодной расправы благочестивых отцов с сыновьями. А не угодно богу, так он руку отца остановит во-время. Поэтому в пожеланиях старика Зиморовца в адрес сына ничего дурного, неположеного как будто и не было.

2

Совершив сделку с Василием Лугановым, Петр Алексеевич «обмывал» барыши, пировал. Пир был особый, по-зиморовски.

– Акилина, собери на стол чего знаешь!

Щеголяя начитанностью из священного писания, Зиморовец звал жену «крещеным» именем: ведь Акулина есть искаженное Акилина, как не Матрена, а Матрона, не Авдотья, а Евдокия.

Акулина Гурьевна вытирала стол, бережно обходя мужа, который сидел истуканом в жестком кресле, распоряжаясь

глазами и выкриками:

– Подтяни скатерть-то! Не так! Левый угол, кому говорят!

Акулина Гурьевна расстелила цветастую камчатную скатерть с густой бахромой, поставила на стол объемистый графин богемского стекла с водкой, настоенной на горьких травах: полыни и мяте. Зиморов был любителем и коньячка, но покупать его жадничал: будь хоть градусы с водкой разные, а то одинаковые. К графину явилась глубокая хрустальная рюмка. Прибор покоился на серебряном подносе, доведенном рачительной хозяйкой до небесного сияния.

Убранство стола дополнила фарфоровая миска с чищенным на дольки чесноком, черный хлеб и солонка.

– Позови. Соседа и Кольку.

Сын появился, ступая тихими шагами, и встал у двери. Сосед Иван Григорьевич Москвичев, по годам ровесник Петру Алексеевичу, сторож на хлебозаводе, вступил в комнату, соблюдая обряд. Долго молился на образную в углу, крестясь двумя перстами по-старообрядчески, а затем поклонился в пояс молвив:

– Мил дому сему.

Москвичев был тонкоголос, не выговаривал «эр» и сильно «окал». О себе он говорил: «Я столовел», – вместо «старовер».

– Здравствуй, Иоанн, – ответил хозяин. – Садись, что ли, будем угощать вас.

Москвичев и Николай Зиморов присели у пустого края

стола – угощение стояло перед хозяином.

– Выпьем, – пригласил Зиморов. – Акилина, наполни.

Через палец – не попали бы в рюмку травки – Акулина Гурьевна налила мужу. Зиморов сказал:

– С господом-богом! – и опрокинул настойку под усы.

– Здоровьечка желаю вам, также успехов во исполнении ваших дел, – облизнувшись, сунулся вперед бороденкой Москвичев.

За ним слово в слово произнес приветствие и Николай. Петр Алексеевич с хрустом сжевал дольку чесноку, плавными движениями расправил бороду – сначала обеими руками вверх, потом пятернями на обе стороны, – и попрекнул сына:

– А тебе трудно стало пожелать отцу?

– Я, тятенька, сказал, – возразил Николай.

– Сказал... – презрительно передразнил отец. – Иоанн, тот сказал, ты ж – повторил. Эх, Николай, Николай!.. Учим мы тебя, учим... Акилина! Плесни Иоанну. Да чего ты, глупая, палец суешь? Эка ему-то беда, коль травинка попадет! Поперек глотки не встанет.

– Не встанет, Петл Алексеич, не может она встать. Пло-гложу! – подхихикнул Москвичев. – Пью единственно за всех ваших дел удачу, благополучное вам начало со свелшением.

– Ладно тебе, – довольно раздуваясь, сказал хозяин. – Акилина, не спи! Плесни-ка еще пискуну! Да Коле-Николаю дай уж...

Акулина Гурьевна угощала гостей из простых граненых

стаканов, которые были приготовлены на подоконнике, а не на столе. Стол – для хозяина. Для гостей же были приготовлены черный хлеб с солью. Сам закусывал одним чесноком: выпьет – и дольку в рот.

Так Петр Алексеевич Зиморов «гулял». Гуляя, болтал. Для болтовни требуются слушатели, для веселья – подхалимы-развлекатели. Обе эти роли выполнял Москвичев, распутный старичишка, «Ваня лыба-в-лот» по уличной кличке, которая пошла от любимой поговорки Москвичева: «Это те не рыба в рот!»

– Веселись, Иоанн лыба-в-лот, – командовал Зиморов. – Веселись! Видишь, гуляем. Мы большие дела делаем. Мы, брат, с золотом. Ты знаешь, кто мы?!

И Москвичев извивался, превознося ум, умение, богатство Зиморовеа. А тот раздувался все сильнее и хвастал, хвастал...

Москвичев ходил в шутах при Зиморове за даровые выпивки. Петр Алексеевич давал ему пить, сколько влезет, не препятствовал Акулине Гурьевне, доброй душе, подкармливать на кухне жалкого старичишку, но денег – рубля не показывал. Зато сулил:

– Мы тебя похороним за наш счет по полному уставу. Так что можешь быть убежден: мы тебя не оставим. Как отцы-деды, будешь иметь погребение в дубовой колоде.

Будучи уверен в Москвичеве, Зиморов не таился перед ним, хвастал вволю, опуская лишь имена и факты. И в своем

доверии не ошибался. Москвичеву не было никакого расчета выдавать своего благодетеля, хотя он знал и больше, чем болтал хозяин на гулянках. Примечая посещения разных людей, Москвичев понимал, зачем они ходят. Ведь «простых» знакомых у Зиморова не водилось. Единственным «простым» Москвичев считал самого себя.

Первым сморило Николая. С усилием поднявшись со стула, Зиморов-младший, тупо переставляя ватные ноги, зацепился за дверь вялыми руками.

– Проводь-ка нашего сынка, Акилина, – распорядился отец. – Не то, голова садовая, он обратно горшки в сенях поколотит, как в запрошлый раз.

Старики все пили. Зиморов багровел, Москвичев бледнел, но держался. Первым сдался Зиморов.

– Ну, баста! – и он скверно выругался по-татарски. – Ванька лыба-в-лот, лоб крести, у хозяина прощения проси и вываливайся!

А сам протянул ноги жене. Опустившись на колени, Акулина Гурьевна разула мужа. Встав на босые ноги, Зиморов дал раздеть себя до белья. Завалившись на кровать, он злым голосом прикрикнул на жену:

– Брось ковыряться! Разбирайся и свет гаси. Не то засну!

Глава третья

1

«Иметь хороших курочек – занятие выгодное. Именно выгодное, приятным его назвать нельзя: кур следует держать изолированно, иначе они попортят огород; надо кормить птицу, чистить курятник».

«Иметь хороший огород тоже выгодное занятие, но приятным это занятие, как и содержание кур, не является: много возни с удобрением, прополкой, разделкой, поливкой, уборкой».

«А вот сад – это не занятие. В котловских условиях сад лишь удовольствие. Здесь вам не Сочи и не Сухуми: выгоды сад не приносит, а из-за отсутствия выгоды не дает и настоящего удовлетворения. Приятно, конечно, а в общем – пустое. Зря пропадает земля. Роскошь! Даже не вложение денег».

«Итак, вывод: удовольствие есть то, что приносит выгоду?.. А связанные с этим труд, хлопоты?

Э, чем больше выгод при наименьшем труде, тем удовольствие ближе к наслаждению. Устраиваться так, чтобы в карманах было побольше денег, есть обязанность, да, обязанность человека! Умного, конечно... Да, да! И – любой ценой».

«А вы понимаете, что значат такие слова?

Отлично понимаю. Все! Остальное – для дураков».

Из этого отвлеченного и будто бы безличного диалога явствует, что при коммунальных квартирах таких удобств, как курочки, огороды и прочие доходы, нет. И деловой человек, желая получить удовольствие, покупает себе хороший дом. Не простой, а именно хороший. Им он украшает свою жизнь. Так иногда размышлял один из «деятелей, умных людей», с которым читателю предстоит познакомиться через одну страницу.

Иван Иванович Тигренков, бывший служащий коммунального хозяйства, ныне инвалид труда, избрал себе занятие, в котором не находил ничего зазорного: посредничество по обмену жилой площади и по купле-продаже недвижимого имущества.

Правда, за маклерство наказаний не предусмотрено и у нас в законах посредничать между двумя частными лицами в интересах обоих будто бы не запрещено. Для людей занятых довольно затруднительно ходить по объявлениям в справочниках или на витринах, разыскивать адреса, не заставать дома, приходить вновь, расспрашивать, осматривать, сравнивать. И очень удобно, если кто-то, человек понимающий, имеющий опыт, проделает всю подготовительную работу. Вы, например, объясняете, чего хотите, он узнает, чем вы располагаете, и может предложить вам два или три ре-

альных «варианта». Естественно, что, добившись с его помощью желаемого, вы вознаграждаете такого человека. Ведь он же для вас трудился!

Так рассуждал Иван Иванович Тигренков и, занимаясь маклерством, отнюдь не считал себя плохим человеком. И другие не считали. Иван Иванович никого не подводил, имел солидную репутацию. В его записных книжках накопилась тьма-тьмушая постоянно подновляемых «вариантов», а ноги еще ходили.

Не один месяц – какое – месяц, больше года! – Брелихманы и Бродкины состояли клиентами Тигренкова. Больше года не мог Тигренков на них заработать ни копейки, если не считать рублей двадцати пяти – тридцати, полученных по мелочам. Проездили Тигренков немало, но совестился тянуть деньги, ничего не сделав, и трудился себе в убыток.

Брелихманам и Бродкиным нужен дом. Вернее, дом нужен Бродкиным, а Брелихманы принимают такое горячее участие в покупке потому, что их дочь – жена Бродкина и сейчас живет у Брелихманов со своей семьей. Живет, жила, а ныне стало тесно. Старик Брелихман говорил Тигренкову, что это он дает своей дочери на покупку дома бо?льшую часть денег.

Тигренков предлагал Бродкиным-Брелихманам больше десятка домов, и в каждом женщины находили кучу недостатков. Сам Владимир Борисович Бродкин тоже не торопился. За свои деньги он хотел иметь хороший дом.

– Когда человек честно трудился, он может выбирать. Это будет мой первый и последний дом.

Владимиру Борисовичу немного за сорок, но он уже на пенсии. Вид у него нездоровый: болезнь печени.

До перехода на пенсию Бродкин был часовщиком. Он рассказывал Тигренкову:

– У меня стаж почти тридцать пять лет. Подтвержденный документами! С девяти лет я работал. Как работал! – И Владимир Борисович поднимал глаза к небу, а правой рукой прижимал печень: болит от работы.

– Да, – продолжал он, – с утра до вечера, и по четырнадцати часов в сутки я ковырялся в часах, чтобы кормить семью и себя. Я советский труженик, десятки тысяч людей мне благодарны за свои часы. Смотрите, Иван Иванович, у меня мозоль от лупы кругом правого глаза. Пощупайте, не стесняйтесь.

И Тигренкову казалось, что он видит эту мозоль.

– А это? – Бродкин хлопал себя по затылку. – Такая суതുловатость бывает лишь у стариков мастеров к семидесяти годам, а мне еще только будет сорок пять. – И Бродкин пускался в интереснейшие истории о часах.

Тигренков верил, что не было в мире таких часов, которые не побывали бы в руках этого отставного часовщика.

– Я по?том, кровью, жизнью заработал деньги, – подтверждал Бродкин. – Покупать дом так дом! Я не крал мои рубли. Наконец-то он нашелся, дом! Тигренков наткнулся на

него случайно, по разговорам, а не по объявлению, и сразу понял: вот что нужно Бродкиным, вот против чего не будут возражать Брелихманы!

Хорошая усадьба, сад, большой двор, огород. Дом двухэтажный, но не чрезмерно большой, жилой площади семьдесят четыре метра, новый, ремонта никакого, стоит в глубине, отступив метров на пятнадцать от красной линии. Владельцы не спешили с продажей, поэтому и не публиковались. Они ждали солидного покупателя. Цена – сто пятьдесят тысяч.

Сумма, конечно, крупная; такой дорогой дом встречался в практике Тигренкова впервые. Но и такую обстановку, как в доме Брелихманов, где Тигренков бывал довольно частым гостем по делу, посредник тоже видел впервые. У этих деньги есть!

Тигренков свел клиентов и отступил: торговаться не дело посредника.

Впоследствии маклер Тигренков слышал, что Бродкин оформлял у нотариуса купчую на шестьдесят тысяч, и не удивился. Дело не его, но больше десяти тысяч Бродкин не выторговал, это уж извините! Тигренков знал, что в нотариальных сделках порой указываются заниженные суммы. Во-первых, клиенты вроде Бродкина не любят, стесняются показывать деньги; во-вторых, стараются занижить купчую, чтобы платить меньше страховых сборов. И это и все, с чем ему приходилось сталкиваться в его маклерских занятиях, каза-

лось Тигренкову в порядке вещей. Да-а!

Старый работник коммунхоза, советский гражданин?

2

Мария Яковлевна Бродкина родилась в двенадцатом году, перед первой мировой войной, и после второй была (о вкусах не спорят) еще достаточно свежей женщиной, хотя те из знакомых, например Мейлинсоны и Гаминские, которые называли Марью Яковлевну обаятельной, мягко выражаясь, «преувеличивали ее прелести». Марья Яковлевна располнела если не совсем до неприличия, то во всяком случае, вне всяких канонов даже рубенсовской красоты. И лицо огрубело, и голос звучал не теми нотками, которые пели в восемнадцать лет, когда Маня Брелихман окончила счетные курсы. Но бухгалтером девушка работала недолго. Отец, в прошлом богатый ювелир-часовщик, обучил дочь своему ремеслу. А в двадцать лет Маня оказалась женой часовщика же, Володи Бродкина. Ее энергичный муж, которому отец Мани помог из своих запасов, через неделю после свадьбы открыл хоть и маленькое, но «свое» дело.

Брак дочери Брелихманов с Бродкиным был, как говорили некоторые старые знакомые, мезальянсом. Такого мнения держались Гаминские, Мейлинсоны, Шедты и другие старые котловцы. Они, как и Брелихманы, обосновались в Котловце задолго до революции и в прошлом были людьми весьма

состоятельными: купцами, владельцами аптек, крупных фотографий, парикмахерских, первоклассных кинематографов (дело новое, многообещающее) и так далее. Это была заметная прослойка в пухлом теле котловской буржуазии.

Такие люди с пренебрежением смотрели на каких-нибудь сапожников или портных Бродкиных, которые, получив после революции в каком-то местечке под Оршей надел земли, единственное, что в жизни порядочного сделали, так это бросили землю, догадавшись, что не дело превращаться в мужиков.

Но Володя Бродкин, нынешний Владимир Борисович, тогда красивый молодой человек (Маню можно понять), быстро создал благополучие для семьи, – быстрее, чем иные сыновья более почтенных семейств. А многие вообще ничего не умели создать. Этим Бродкин заслужил полное признание даже со стороны таких светских людей, как Рубины, Клоткины и Каменники.

Володя Бродкин преуспел, не имея никакого образования. Впрочем, этот недостаток проявлялся лишь в тех случаях, когда Бродкину приходилось писать. Но Мане в любви он объяснялся устно, а в остальном деловые люди обязаны уметь не писать, а думать, говорить, творить дела.

С хорошим мужем Мане не пришлось губить свои карие глазки над бухгалтерскими книгами или над часовыми механизмами. Став домашней хозяйкой, Мария Яковлевна не портила ручки кастрюлями: у Володи хватало.

Перед войной дела шли особенно блестяще. И вдруг в сорок первом году, под самый новый сорок второй год, – взрыв! Владимир Борисович был арестован, как и некоторые общие знакомые Бродкиных. Был взят и тесть Бродкина, старый Брелихман. Друзья арестованных пустили в ход все, что могли, добрались если не до самого Берии, то, во всяком случае, побывали где-то около него, и... улики против Бродкина и других не оказалось, как значилось в бумаге под заголовком «Постановление о прекращении дела».

Словом, семья Бродкиных заслуживала своего дома и, наконец-то, получила его.

Сад давал тень, огород – овощи на продажу, а двадцать пять породистых кур неуклонно неслись и летом приносили чистого дохода до девятисот рублей в месяц: хорошие яйца всегда в цене. Может быть, эти девятьсот рублей были не так и нужны семье Бродкина, который сейчас, по состоянию здоровья, получал двести с чем-то рублей пенсии. Так или иначе, Марья Яковлевна увлекалась хозяйством до того, что сама сбывала яйца на базаре, гордо говоря:

– Я никогда не отказывалась от труда!

Соседка за небольшую мзду могла бы торговать на базаре знаменитыми яйцами бродкинских кур, но Марья Яковлевна вздыхала с друзьями: – Ах, моя дорогая! В наше несчастное время все эти пролетарий стали такими жуликами, такими хамами...

Для иллюстрации Марья Яковлевна захлебывалась рас-

сказом об очередном случае с очередной домработницей, затравленной ее подозрениями.

Мадам Бродкина всегда страдала, когда какая-либо случайность заставляла ее прибегать к чужой помощи в ее личных торговых операциях.

Глава четвертая

1

Крупная овчарка зарычала было, но тут же, узнав посетителя, подавилась и пошла к нему, развратно виляя длинным телом и сворачивая набок морду. Сморщенные губы обнажали здоровенные клыки и резцы в подобии усмешки; подобии настолько двусмысленном, что невольно думалось: «А не укусит ли все же и старого знакомого эта злая и хитрая гадина, притворившись, что произошла досадная опечатка?»

В интересах Бродкиных овчарка ходила на цепи, цепь ходила по медной проволоке, а проволока была протянута во дворе против ворот с калиткой – единственного входа в прочно огражденную усадьбу. Днем калитку не закрывали: Бетти не пустит чужих.

Михаил Федорович Трузенгельд заметно ковылял на ходу: его правая нога была короче левой на три сантиметра с лишним. От рождения... Следовательно, виноваты были родители, в частности мать, так как ни у нее, ни у папы Фроима не было физических недостатков.

Неосторожность во время беременности. До такого обвинения Миша Трузенгельд додумался лет в четырнадцать. Поводом для размышлений и обвинительного акта было про-

буждение интереса к девочкам. Миша, носивший в школе прозвище Утка из-за своей переваливающейся походки, страдал (юность глупа!), ненавидел своих «нормальных» товарищей и готов был возненавидеть родителей. Впрочем, страдания легкомысленного юноши были не слишком глубоки. И еще до достижения призывного возраста мальчик узнал от старших, что короткая нога не недостаток, а ценное преимущество.

– Да, мой мальчик, – поучал отец. – Тебя не возьмут в эту паршивую Красную Армию, и воевать за тебя будут другие. Э, многие-многие заплатили бы тебе кругленькую сумму за такую ногу! Но я не посоветую нашему Мыше соглашаться. Такая сделка была бы еще глупее той, которую безголовый Исав заключил с мудрым Иаковом, уступив младшему брату права первородства.

Старик говорил только по-русски, жаргона почти не понимал и коверкал русский язык, произнося «Мыша» в насмешку над «пархатыми голодранцами», которые появились в Котлове и прочих приволжских городах во время войны четырнадцатого года и после революции, прибывая из Западного края.

И первая медкомиссия и все последующие устанавливали факт укорочения ноги на четыре сантиметра. К прохождению военной службы негоден. В сущности-то, нормальным оказался Михаил Трузенгельд, который будет жить для себя, без риска, как он говорил, сделаться «пушечным мясом»,

подобно равноногим парням. По его мнению, – это хорошая месть за кличку Утка.

Михаил Трузенгельд проковылял на своей высокоценной ноге мимо загадочной усмешки Бетти с неприятной мыслью о близости собачьих зубов к новым брюкам. Но все обошлось благополучно.

2

Трузенгельд нашел Владимира Бродкина в кабинете – небольшой, метров на четырнадцать, квадратной комнате, уютной, в первом этаже, с двумя окнами в сад. Бродкин окончательно переселился сюда года полтора тому назад, когда его здоровье заметно ухудшилось. Он отдал жене в полное распоряжение супружескую спальню с двумя составленными кроватями орехового дерева, тумбочками, зеркальным шифоньером, трюмо, мягкими пуфами, трельяжем, расписной фарфоровой люстрой и всеми прочими приспособлениями; приспособлениями, так хорошо создающими семейное счастье если не по Льву Николаевичу Толстому, то уж наверняка по Вербицкой. Кстати сказать, несколько томиков этой забытой писательницы – любимое чтение Марии Яковлевны, – в том числе некогда скандально-знаменитые «Ключи счастья», хранились под замком не честно изношенные, как настоящая книга, а позорно замызганные, засаленные, как ветхий подол юбки, истасканной по толкучим рынкам.

Бродкин книг не читал никогда, а ныне, как он выражался, и «в спальню своей супруги не навещал». Он был действительно болен и получал пенсию отнюдь не по снисхождению соцстраха.

Владимир Борисович сидел в халате на диване и о чем-то размышлял. Заболев, он стал как-то особенно часто и глубоко задумываться.

– Добрый день, Мыша, – сказал он, вяло протянув руку Трузенгельду и не отвечая на пожатие. – Как пригаешь?

Обычное приветствие Бродкина, в котором вовсе не крылся намек на короткую ногу Трузенгельда, было для того все же неприятно.

Михаил Трузенгельд унаследовал от отца аристократическое презрение к «этим выходцам из Западного края». В самом деле, нужно быть ослом, чтобы за тридцать лет не научиться правильно говорить и до сих пор путать звуки «ы» и «и».

Но Бродкин отнюдь не был ослом, иначе Трузенгельд не имел бы с ним дел. Деловитость, ум, расчет Бродкина признавались всеми, также и покойным Фроимом Трузенгельдом, который в последние годы своей жизни был для Бродкина, в сущности, посредником. Маклером Бродкина и скончался старый Трузенгельд в сорок втором году.

На вежливый вопрос Трузенгельда о здоровье Бродкин ответил длинейшим, многосложным ругательством. Это совершенно русское ругательство было адресовано профессо-

рам-медикам, которые «жрут» деньги и время. Времени у него, у Бродкина, – чтоб ему, этому времени! – хватает, но кидаться деньгами он не собирается. Чтоб этим профессорам чорт загнул ноги на загривок, чтоб они подавились бродкинскими деньгами и треснули!

Бродкинские деньги!.. Чем больше развивалась болезнь Бродкина, тем больше, тем серьезнее Миша Трузенгельд размышлял об этих деньгах. Капитал...

Революция пустила прахом капитал семьи Трузенгельдов. Исчезли (для Трузенгельдов, конечно) вальцовая мельница в Саратове и рыбные тони в Астрахани, пропали средства, вложенные в обороты хлебом и скотом для выгоднейших поставок на старую царскую армию.

Фроим не без увлечения встретил Февральскую революцию. Не потому, что пали национальные ограничения для него и для его соплеменников. Для Трузенгельдов эти ограничения не существовали, нет: наконец-то и в отсталой России на широкую арену вылезал его величество Капитал с большой буквы! Вот почему богач Фроим Трузенгельд с такой охотой, с воодушевлением даже, сам – никто его не просил – укрепил шелковый красный бант над сердцем. Коммерсант не чувствовал, чем кончатся его увлечения «свободой». Он не собирался останавливать дела, раздутые войной. Работа «на оборону» обещала сделать его настоящим миллионером. Как можно извлечь капитал из дел, которые после августа четырнадцатого года начали приносить «настоящие»

проценты?!

В поисках путей и после Октябрьской революции Фроим Трузенгельд, надеясь на лучшее будущее, поддерживал Самарское правительство, Комуч, жертвовал деньги, принимая участие в сборах, организованных в среде волжских коммерсантов.

В этом-то семнадцатом году, чреватом большими несчастьями для людей «больших дел», и был произведен на свет Миша Трузенгельд с драгоценной короткой ножкой. В двадцать третьем году его родители после ряда мытарств оказались в Котлове. Котловское «общество», растрепанное революцией, приняло Трузенгельдов как равных: помимо воспоминаний о деловых связях, были связи родственные, например известные Мейлинсоны.

Но что в сочувствии? Увы, это не кредит. Да и дел-то не могло быть. Словом, Фроим Трузенгельд и маклерил, и маклачил, и служил, кормя жену и сына «чужим» хлебом. «Своего» не было, настоящих денег не было тоже. Не то, что у Бродкина, на которого оба Трузенгельда поработали немало в последние предвоенные годы, на которого Миша работал и сейчас. Михаил Трузенгельд уже кое-что имел. Имел деньги – не капитал. Да... Капитал Бродкина. А каков он?.. Сколько?..

Неоспоримым преимуществом Бродкина над Трузенгельдами, Мейлинсонами, Брелихманами и другими было то, что пока те повторяли зады, Бродкин создал себе состояние сам.

Потомок теснившихся в местечках нищих поколений мельчайших торговцев, рабочих, батраков, ремесленников, факторов, извозчиков, забитых «своими» капиталистами куда больше, чем национальными стеснениями, установленными законами империи, Владимир Бродкин, будь он пограмотнее, мог бы сказать о себе словами тоже не слишком-то блиставших грамотностью баронов, герцогов и князей Наполеона Первого: «Я сам свой предок!»

Для Бродкина старое время не мерцало в далекой дымке, как для Трузенгельдов, Брелихманов и других, собственными мельницами, пароходами, стадами скота, поземельными владениями, хотя бы и купленными на чужое имя.

Старое время рода Бродкиных высывало чахлое лицо в рамке нищеты, привычного, на грани дистрофии, хронического недоедания и личной безопасности на грани погрома, никогда не грозившего Трузенгельдам. Итак, все и всякие Трузенгельды в «старое» время действовали в благоприятной для частного обогащения обстановке капитализма. А Владимир Борисович Бродкин пустился по пути личного стяжания вопреки обществу, вопреки всем установкам

Советского государства.

Телом Бродкин был брюзгло-жирен, от плохого обмена. Прежде незаурядно-красивые черты лица, – старики говорили, что молодой Володя Бродкин походил на известного «мессию» сионизма конца прошлого столетия, – пухло раздулись, рот с опущенными углами хранил застывшие-недовольное выражение.

– Что слышно? – продолжал разговор Бродкин.

– Все по-старому. Опять, Володя, есть металл. Братъ будешь? – предложил Трузенгельд.

– Сколько есть?

– Четыре килограмма.

– Гм... Четыре... килограмма? – переспросил Бродкин. – Об этом золоте я уже слышал. Там, гм, было больше...

Чорт же его разберет, этого Бродкина! Каждый раз, каждый раз, когда Трузенгельд являлся с предложением сделки на золото, Бродкин подносил что-либо подобное: он всегда уже был «в курсе», этот коммерсант.

«Там было больше», – дьявольски-хитрые слова! Как решить, действительно Бродкин знал или нарочно притворялся всезнающим, чтобы легче разговаривать с Трузенгельдом? Трузенгельд хорошо помнил, как на самое первое предложение – это было довольно давно – Бродкин хладнокровно ответил: «Я уже слышал об этом деле».

Откуда и как мог Трузенгельд знать, сколько «там» металла на самом деле? Он не мог проверить Бродкина. Но

Бродкин брал золото. Зачем бы он допускал маклера, если бы имел возможность договариваться с поставщиками непосредственно? Из осторожности? Беспокойный ум Трузенгельда не находил ответа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.